

# АНДРЕ ГЛЮКСМАН

КУХАРКА  
И ЛЮДОЕД

АНДРЕ  
ГЛЮКСМАН

## Pages 4, 5, 6, 7, 8 et 14 : LA CRISE LE FIGARO EDITION HEBDOMADAIRE

Directeur : Pierre BRIBON (1934-1964) 146-147\* JOUR de l'ANNEE

### GAULLE CONFIRME : RÉFÉRENDUM EN

l'émissionnerait en cas de réponse nég.

**Première**  
**contre syndicats -**  
**ernement - patronat**  
Mistère des Affaires sociales  
OUT LE MONDE EST  
CIDÉ A DISCUTER "

AU TERME DES MANIFESTATIONS ÉTUDIANTES D'HIER

### Redoublement de violence au Quartier Latin

Plusieurs milliers de jeunes  
retranchés derrière une vingtaine  
de barricades en pavés

**A minuit, les forces  
de l'ordre n'avaient  
pas encore entrepris  
d'action d'envergure**

- Des groupes avaient tenté dans la soirée d'incendier la Bourse
- Bagarres autour de la gare de Lyon et de la Bastille



En haut : Les pompiers interviennent à la Bourse pour éteindre le foyer d'incendie allumé par les manifestants. En bas : Boulevard des Filles-du-Caluvaire, une barricade est dressée par les manifestants pour enrayer la progression des forces de police.

### DÉFILÉS MASSIFS

dans le calme

CHRONIQUE

Quand il es  
le poète

Il y a dix ans, Francis Carco mourut. Déjà la France était en crise. Les facultés ni les unes, mais, ce régime disparaissant, un autre appu... rythme trois bières deux longues des à Elysées, par-dessus la mer et les mon nos orilles les échos du Forum. Nous, ses amis, savions depuis Francis Carco était proche de cet instau... nous mesurions l'effort de l'écrit-

OPI

## **КУХАРКА И ЛЮДОЕД**

**ANDRÉ  
GLUCKSMANN  
THE COOK AND  
THE CANNIBAL**

**Essay on relations between the state,  
Marxism and concentration camps**

**Translated from French  
by Nina Staviskaya**

**Overseas Publications Interchange Ltd**

# **АНДРЕ ГЛЮКСМАН КУХАРКА И ЛЮДОЕД**

**Этюд об отношениях между государством,  
марксизмом и концлагерем**

**Перевела с французского  
Нина Ставиская**

**André Glucksmann: KUKHARKA I LYUDOYED**

First Russian edition published in 1980  
by Overseas Publications Interchange Ltd  
40, Elsham Road, London W14 8HB, England

First published in French  
under the title: «La Cuisinière et le Mangeur d'hommes»  
(Éditions du Seuil, 1975)

Copyright © Éditions du Seuil, 1975

Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1980

Copyright © interview with André Glucksmann  
Kontinent Verlag GmbH, 1979

**All rights reserved**

No part of this publication may be reproduced,  
in any form or by any means, without permission.

**ISBN 0 903868 24 5**

В качестве послесловия публикуется интервью,  
данное Андре Глюксманом журналу *Континент* (№ 21)

Printed in Great Britain  
by Whitstable Litho, Whitstable, Kent

Дорогая мама...

Из нас сделали подстилку для мира. В Книге жизни особый лист будет посвящен людям, выбравшимся из могил; на одной стороне его люди прочтут о полном и окончательном разгроме, поражении, сдаче, на другой – об ошеломляющей победе и блистательном триумфе.

Джорж Джексон, *Братья Соледад*

**Жан-Пьеру Вийетту**

## Введение

### От Колымы до Атлантического океана

Людам, которые смотрят на нас из России — уцелевшим лагерникам и их родным, нынешним пансионерам психиатрических больниц политической полиции, новым сибирским ссыльным — мы кажемся безнадежными кретинами. Надежда, жена поэта Мандельштама, погибшего — дата смерти так и осталась неизвестной — в лагере на Дальнем Востоке — она никогда не узнает, в каком; Солженицын, ровесник Октябрьской революции, христианин, ныне изгнанник; Иосиф Бергер, основатель компартии бывшей Палестины, — двадцать один год лагерей, теперь живет в Тель-Авиве; а сколько других, видящих нас сквозь призму индивидуальных философских взглядов и общего опыта... Их поражает наша „кажущаяся наивность”, им трудно поверить в наше простодушие.

То, что, как я видел, происходит за пределами Советского Союза, удручало еще больше. Несмотря на разброд в международном коммунистическом движении, ни общественное мнение, ни рабочие организации там так и не поняли того, что для узников тюрем и лагерей — неоспоримая истина... Действительность, особенно в Западных университетах, далеко превзошла худшие опасения революционеров „потерянного поколения”, к которому принадлежу и я.

Одни пишут об этом резко, как Бергер в приведенных выше выводах. Или как Солженицын. Другие мягче, как Надежда, воскрешающая в памяти свою „левацкую” юность в Киеве 20-х годов. Третьи, как рабочий Марченко со своей каторги или интеллеktуал Буковский из сумасшедшего дома, о нас вообще не упоминают.

Их, потрясенных чешским сопротивлением, Западное движение протеста не трогает, оно для них — всего лишь пред-



ставление, разыгрываемое неумелыми актерами, которые разгуливают в костюмах 17 года по заброшенным подмосткам какого-нибудь музея Гревен.

Мне скажут: Туль, Лип, Ларзак — это все новое, они об этом не знают. Бунт заключенных-уголовников, рабочая коммуна, просуществовавшая девять месяцев вне общества на „наворованные” запасы, гитары и вилы против танков — вот что не поддается марксистским схемам, не только большевистской, но и социал-демократической. Повторяющееся прошлое здесь вовсе ни при чем. А „дух мая 68”? Разве не им был движим Дани наутро после баррикад, когда высказывал правду в глаза „сволочам-сталинистам” (г-м Сеги и Марше), предварительно выгнав Арагона (русские называют „арагонами” иностранных туристов, воспевающих радости жизни под сенью лагерей)?

Впрочем, разве мы сами обо всем знаем? В то лето 74, когда министр внутренних дел рекомендовал тюремным надзирателям расстреливать бунтующих заключенных как кроликов, „вся Франция” была в отпуску. Результат: около дюжины убитых по официальным данным. Полнейшее молчание. За нашу историю убийство безоружных заключенных редко подымалось на высоту священной обязанности Государства (разумеется, это было сделано под давлением профсоюза тюремных сторожей: прекрасный предлог нас еще чуть больше „советизировать”). Читая русских диссидентов, мы находим подтверждение того, что бесчеловечность в обращении с заключенными — это опытная лаборатория современного „государственного насилия”, которым навсегда окрашена история СССР и которое „совершается в суровом молчании, изредка прерываемом последним криком задушенного. Такое насилие любит принимать вид благородства, доброжелательности, спокойствия и оцепенения” (Солженицын).

Жалость? Сострадание? Простите, нечто гораздо большее. Пример „уголовников”, противостоящих неприкрыто жестоким репрессиям, организованным французским обществом, показывает, что выносить невыносимое необязательно: от-

ныне посадка гражданина в тюрьму будет дорого стоить сажающему, большую цену придется платить всем маячащим на горизонте сторонникам фашизоидных „окончательных решений”. Аванпосты свободы возникают там, где их меньше всего ожидали ученые теоретики или „ведущие этим” организации.

На долю Дрюона-министра выпал звездный час, которого не довелось пережить Дрюону-академику: в Париже, во время демонстрации, его освистали 10000 писателей, художников и артистов. Три недели спустя рабочие Липа праздновали 14-е июля 1973 г. на занятом ими заводе, открытом для населения. Три знаменитых артиста захотели выразить свою поддержку. Один за десять дней до праздника приехал к ним петь, другой прислал фотографию с автографом, третий — дружественную телеграмму. Прибавьте к этому парижский рыночный духовой оркестр и труппу формирующегося театра протеста. С одной стороны 10000, с другой трое: показатель эмоций, вызванных речью министра и неслыханной инициативой провинциальных рабочих? Во всяком случае, признак того, как нелегко нам осваивать **новое** в народном протесте. Признак нашей растерянности, когда перед нами внезапно появляются те, кого марксизм называет подонками („люмпены”, пролетарии в лохмотьях, уголовники), элементами реакционными или отсталыми (христиане липского прихода или крестьяне), деклассированными (бродячие интеллектуалы, хиппи), неустойчивыми и сомнительными (молодые рабочие с „маргинальным сознанием”), чужаками (иммигранты), извращенцами (педерасты). Все это — зародыш концлагерей: и тут опять-таки русские диссиденты могут помочь нам познать самое себя.

Нам? А кто это „мы”? Группы, группки и группочки, ссорящиеся по поводу просто левизны и крайней левизны, ожесточенно продолжающие наследственные споры о том, кто лучше; ленинисты, не ленинисты?... Для них законом является „изм”, теория, освящающая деление на направляющих и направляемых (в том смысле, в каком авторитетно утверждается, что Париж **направляет** провинцию); на элиту

— и плембс; на ответственных — и рядовых; на активиста — и массы. Чтобы прислушаться к голосам из Липа или из истязаемой России, нужно больше скромности: иными словами, демократизма. „Солженищынизма” не существует: тем лучше для самого писателя и тем лучше для нас. Историю и тут, и там делают простые рабочие Липа или безымянные русские, сохраняющие ясную голову в лагерях смертников.

В Европе движение протеста вскормлено борьбой против колониализма. Порою оно могло вдохновиться китайской идеей сопротивления шантажу Сверхдержав, сопротивления ядерному рабству. К счастью, вдохновляться — не значит копировать: португальский капитан, вешающий в кабинете на стенку фотографию Че, не собирается подражать партизанам, свергающим фашистский режим. Видимо, времена полной и безусловной преданности идее миновали. Что ж. Зато теперь мы можем, не теряя из виду собственного опыта, свободно осмыслить драгоценный всечеловеческий опыт сопротивления Государственному насилию.

В течение многих лет СССР был от нас дальше Чили, дальше Китая, дальше самых отдаленных уголков света, где шла освободительная борьба. Не значит ли это, что мы были далеки от самих себя? И разве не понадобилось мне увидеть уборщицу мадам Тевенен, и сельскохозяйственных рабочих месье и мадам Оверни, склонившихся над своими убитыми детьми, чтобы я начал понимать Матрену, эту крестьянскую „праведницу” Солженищына?

## **1. РОССИЯ НАШИМИ ГЛАЗАМИ**



Сын века: кто не хочет им быть? Но что такое этот век, на три четверти уже ставший прошлым? Мы, дети Октября и Хиросимы, вскормлены Революцией и Бомбой. Ну а концлагеря? Кошмар душегубок казался нам исключением. А между тем этот кошмар существовал уже в России Сталина (который положил начало его систематическому использованию), он продолжает существовать в сегодняшней России, в Чили... Любой перечень окажется неполным, лагеря периодически возникают то там, то тут, и угроза их возникновения существует повсюду. Сын века, ты дитя Бухенвальда и Колымы — пусть мы еще не понимаем, что несет с собой это новое общественное положение.

Нацистские лагеря были нацистскими. Раковая опухоль казалась локализованной, мы не были соучастниками. Ну а русские лагеря: русские они или марксистские? Прежде всего придется заметить, что перед нами отнюдь не чисто русская или чисто немецкая особенность, и что безумие это вовсе не оригинально. В разных масштабах, в зависимости от исторических обстоятельств и местных обычаев, наш век все вновь и вновь воспроизводит эту изобретенную им новинку: концлагерь. Любая осязаемая реальность, любая определяющая идея, которыми он кичится „помимо” (впрочем, всегда ли помимо?), на фоне этой бездны становятся сомнительными.

Мы обходим чудовище стороной, мы недостаточно вооружены, чтобы о нем задуматься. Марксистские примадонны „советских” лагерей в свою программу не включают,

как либеральная буржуазия не бредит Гитлером. Так вот почему ваша дочь нема: они ведь этого **не хотели**, значит, они ни при чем, остается поверить им на слово да продолжить наши приятные занятия. Свидетельства заключенных говорят о другом, не нашем мире. Историки и теоретики, описывая мир лагерей, сжигают мосты, отрезая возможность всякого сравнения, всякой аналогии между тем миром и этим: там — тоталитарная система; здесь, у нас — другие принципы.

Там — ад. Но надо ли поэтому здесь разводить искусственный рай? Невинные идеи не предусматривали лагерей, но ведь и не помогли их предотвратить. Либерализм, марксизм: даже если предположить, что они ни в чем не виновны, они во всяком случае ничем и не помешали. Разве остаться при них, не возмущая своего идеологического покоя всей этой грудой боли, не значит проявить чрезмерное пристрастие к томикам „золотой библиотеки“? А если наш век, наши общественные системы, способные породить лагеря смерти, не так уж ни при чем? А если от нашего цивилизованного мира тянется пуповина к этой жуткой вселенной, мысль о которой нас неотступно преследует?

XX век — век концлагерей. Впервые лагеря появляются с колониальными войнами. Англичане „концентрируют“ буров. Они же начинают массовую мобилизацию иностранных рабочих для военной экономики 1914—18 гг. Лагеря очень рано появляются на горизонте русской революции и вскоре начинают в больших количествах поставлять рабочую силу, необходимую для „построения социализма“. Нацистский режим культивирует угрозу лагерей, а с захватом власти превращает их в реальность. Колонии, Труд, Порядок: вот она — роспись нашего века.

## В зеркале Колымы

Остается расшифровать эту непростую роспись. В мире эксплуатации, колониализма, поддержки порядка, концлагерь **избыточен**: он одновременно и нечто большее, и нечто

другое. Вопрос в следующем: если лагерь — это „ужас в себе”, то он не от нашего мира, мы не несем вины за бред Гитлера или Сталина. С другой стороны, если лагеря не падают с неба, если они зарождаются в лоне нормального общества, как избежать превращения их самих в нечто вполне невинное „реалистически мыслящими” докторами науки „надо так надо”? Как избежать зачисления их чересчур гуманными в разряд печальной необходимости или ошибки в расчетах: надо так надо, для поддержания порядка или для „построения социализма”? Как удержать в руках оба конца одной цепи: из ряда вон выходящий ужас лагерей и глухое потворство обыкновенного общества?

Впрочем, может быть, за последние годы мы стали просвещеннее, может быть, нам теперь легче понять тайную связь между нашим миром и миром лагерей? Вот факты. Первый: здесь, у нас, возникают движения протеста против казарменной дисциплины, против деспотизма на заводах, против расистского запирания людей в бидонвили, против терроризма тюремных властей, против свирепствования иерархий... Все это элементы, из которых фашизм образует систему. Европейские марксисты — социал-демократические, коммунистические или университетские — привыкли считать это все второстепенными явлениями, полуанекдотическими побочными следствиями капиталистической эксплуатации. Марксизм, этот „радикальный критик общества”, умалчивает о подобных каждодневных точках скрещения судеб; когда говорят, что в том или этом маленьком начальнике, конечно же, нет ничего от Капо, когда от трусости выносят невыносимое, но также и тогда, когда терроризм власть имущих наталкивается на бунт. Только разрушительный анализ нашего общества позволяет заподозрить, что в его собственных недрах при благоприятных обстоятельствах может возникнуть система концлагерей.

Но чтобы разродиться им, нужно нечто большее. Силы, дремлющие под покровом внешнего спокойствия, в один прекрасный день поднимаются и организуют ад; чтобы их распознать, необходимо **свидетельство из ада**. Итоги суще-



ствования такого общества, которое вот уже полвека непрерывно пополняет свои концлагеря, подвели для нас русские диссиденты. Этот потрясающий исторический факт распахнул перед нами врата ночи. И увенчал собой этот коллективный труд *Архипелаг ГУЛag*.

Его границы проходят здесь. Архипелаг ГУЛag – это континент с законченной системой, существующий в нашем, а вовсе не в каком-то другом мире. Лубянка находится в сердце Москвы, эшелоны с умирающими ссыльными идут по обычным железным дорогам, ночь арестов следует за днем демонстраций. Круговая порука, поддерживающая существование лагерей, завязывается вне их. Внешний мир, увиденный глазами лагерника, оказывается тяжело виновным; Россия Ленина, Европа Черчилля, Америка Рузвельта, как и Америка Никсона–Форда – разделенные во времени и пространстве, все эти страны участвуют в сговоре, не говоря уже о революционных партиях, боящихся слово проронить о лагерях. Действующие лица драмы – не только палач и жертва; Солженицын все время бьется над главным вопросом: почему мы не сопротивлялись?

Границы Архипелага – внутри нас. Говоря о поставщике и охранителе лагерей НКВД, Солженицын спрашивает себя: „Это волчье племя – откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? Не нашей крови? Нашей”. Идя дальше, он вспоминает, как большинство студентов, подобно ему, отказались поступать в школы НКВД, несмотря на сулимые этим материальные выгоды. Но их „студенческого вольнолюбия” было мало, чтобы различить добро и зло: если бы на них нажали, им бы „пришлось” завербоваться: „Можно, конечно, теперь себя обласкивать, сказать себе, что мое ретивое бы не стерпело, я бы там возражал, хлопнул дверью. Но, лежа на тюремных нарах, стал я как-то переглядывать свой действительный офицерский путь – и ужаснулся”.

Как становятся возможны лагеря? Как могли мы так мало сопротивляться? Лежа на тюремных нарах, Солженицын понимает, что лагерь подготавливается задолго до лагеря, что полицейский просвечивает и сквозь военную форму:

Я метал своим подчиненным беспспорные приказы, убежденный, что лучше тех приказов и быть не может. Даже на фронте, где всех нас, кажется, равняла смерть, моя власть быстро убедила меня, что я – человек высшего сорта. Сидя, выслушивал я их, стоящих по „смирно”. Обрывал, указывал. Отцов и дедов называл на „ты” (они меня на „вы”, конечно). Посылал их под снарядами срращивать разорванные провода, чтоб только высшие начальники меня не попрекнули (Андрейшин так погиб). Ел свое офицерское масло с печеньем, не раздумываясь, почему оно мне положено, а солдатам нет. Уж конечно был у меня денщик (а по-благородному – „ординарец”), которого я так и сяк озабочивал и понукал следить за моею персоной и готовить мне всю еду отдельно от солдат. (А ведь у лубянских следователей ординарцев нет, этого на них не скажешь.) Заставлял солдат горбить, копать мне особые землянки на каждом новом месте и накатывать туда бревешки потолще, чтобы было мне удобно и безопасно.<sup>1</sup>

Почему мы покоряемся? Разумеется, не всякий офицер – эсэсовец, но чем больше разница, тем более показательно то мгновение, во времени и пространстве, когда офицер уступает место полицейскому. Этот недостаток „гражданского мужества” не замаскировать никаким актом мужества военного: даже если ты сам сумел не проявить трусости, надо понять, что эта гражданская трусость лежит в основе всех военных поражений. Царская бюрократия раздавила русских генералов из *Августа Четырнадцатого* еще до разгрома немцами. Первые катастрофы Красной армии в 1941 г. говорят о бедственном положении армии и общества, подорванных полицией; лишь взрыв народного гнева помог избежать худшего.

Что в нас покоряется? Солженицын-заклученный, думая о Солженицыне-офицере, продолжает:

Вот что с человеком делают погоны. И куда те внушения бабушки перед иконкой! И – куда те пионерские грезы о будущем святом Равенстве!

И когда на КП комбрига смершевцы сорвали с меня эти проклятые погоны, и ремень сняли и толкали идти садиться в их автомобиль, то и в своей перепрокинутой судьбе я еще тем был очень уязвлен, как же это я в таком разжалованном виде буду проходить комнату теле-

фонистов – вель рядовые не должны были видеть меня таким!<sup>2</sup>

Ординарность повседневной жизни и экстраординарность лагерей неотделимы друг от друга. Когда этот вопрос встает перед заключенными, ответ на него меняется: еще до ареста, в „нормальной” жизни, происходит деление на тех, кто в лагере будет сопротивляться, и тех, кто уступит, договорится. Власть офицера над „его” людьми, власть врача над телами и жизнями пациентов (см. *Раковый корпус*), власть интеллектуала над словами и средствами коммуникации (см. *В круге первом*): именно здесь, в том, что для 20-го века просто осуществление компетентными лицами своих привилегий, глаз ссыльного различает трещины, расслоения, зазоры: регулируя повседневную жизнь, власти одновременно с этим готовят взаимозаменяемых палачей и жертв, которые впоследствии заполнят Архипелаг.

Врач „лечит” тела людей. С полной честностью. Заболел он сам – он покоряется другому врачу, покоряясь (всему свое время) закону, который ранее налагал: закону врачебной тайны, этому рву, пролегающему между тем, кто лечит именем знания, и тем, кто страдает, не ведая почему. Докторша Донцова последовательно проходит все стадии этой субординации, не испытывая никаких затруднений. Только лагерник Костоглотов в момент опасности угрожает нарушить это „естественное” разделение. Но самому стать своим врачом недостаточно, водораздел продолжает существовать, только уходит внутрь: в *Круге первом* заключенный-интеллектуал Рубин упорно пытается объяснить с марксистской точки зрения и собственную невиновность, и одновременно историческую необходимость лагерей. Во имя сохранения своей власти объяснить (своего марксизма), объект объяснения – ни в чем не повинный арестант – не только склоняется перед тайнами диалектики истории, но и сам поддерживает и интерпретирует эту „врачебную тайну”, раздувную до вселенских масштабов.

Здесь французский читатель может сделать некоторые сравнения. Уже Фуко описывал отношения власти в клини-

ке, какой она была в 19-м веке (*Физиология врачебного взгляда*). Буржуазный авторитет медицины начинает повсюду вызывать протест. Однако довольствуясь аналогиями, мы упустим главное, если займемся выискиванием у Солженицына диссидентских и реакционных взглядов да выписыванием их в два столбца: налево диссидентские, направо реакционные. Напрасный труд, лишь затемняющий правильный взгляд на Солженицына. Он не разбирает в качестве штабного эксперта „проблему” армии. Он не предлагает решения „проблемы” современной медицины. Он все время проверяет, что и кто – в *Раковом корпусе* или среди интеллектуалов *Круга первого* – может сопротивляться лагерям. Взгляд с точки зрения Сопротивления ниспровергает ценности повседневной жизни, открывает неожиданные виды соучастия и освещает внутренние противоречия, которых Запад в 20-м веке обычно не достаивает заметить.

## Вначале было Сопrotивление

„Тем не менее, тут возникает сложность. Ее можно проиллюстрировать вопросом, обращенным Гамлетом к матери, когда он спрашивает, видит ли она призрак.

– Гамлет: Вы ничего не видите?

– Королева: Нет, все, что есть, я вижу. Я всегда задавался вопросом, откуда она знает, что видит „все, что есть”. Но она была права, считая это необходимой предпосылкой для отрицания призрака...”

*Бертран Рассел, Значение и истина*

Главный вывод, верный с самого основания лагерей и на все времена: сопротивляться можно, и сопротивление не пропадает даром. 1937 год. Соратники Ленина занимаются самообвинениями на открытых процессах, сменяющих друг друга в Москве. Власти решают поставить такой же спектакль на областном уровне: так в глубине русской провинции возникает „кады́йское дело”. Обвинение строится на смертных „признаниях” человека, умершего под пытками. На открытом процессе множество публики. Цель — „воспитание” крестьянских масс. И вдруг скандал: обвиняемые отказываются от своих показаний.

На этом дело не кончается, Солженицын комментирует его продолжение. Здесь и раскрывается та точка зрения, на которую он предлагает нам встать, чтобы бесповоротно осудить „да... но” Бухарина на процессе, эти признания с увертками, эти подмигивания потомству. Хорошо отрежиссированному спектаклю в Москве он противопоставляет возрастающую неразбериху в Кадые.

Итак, зачитываются и заново протоколируются показания обвиняемого, погибшего на следствии. Начинается опрос подсудимых и — конфуз! — все они отказываются от своих признаний, сделанных на следствии.

„Неизвестно, как поступили бы в этом случае в Октябрьском зале Дома Союзов, — а здесь решено без стыда продолжать! Судья упрекает: Как же вы могли на следствии показывать иначе? Универ, ослабевший, едва слышимым голосом: „как коммунист, я не могу на открытом суде рассказывать о методах допроса в НКВД” (Вот и модель бухаринского процесса! вот это-то их и сковывает: они больше всего боятся, чтобы народ не подумал худо о партии. Их судьи давно уже оставили эту заботу).

В перерыве Ключин обходит камеры подсудимых. Власову: „Слышал, как скурвились Смирнов и Универ, сволочи? Ты же должен признать себя виновным и рассказывать всю правду!” — „Только правду! — охотно соглашается еще не ослабевший Власов. — Только правду, что вы ничем не отличаетесь от германских фашистов!” Ключин свирепеет: „Смотри, б..., кровью расплатишься!” С этого времени в процессе Власов со вторых ролей переводится на первые — как идейный вдохновитель группы”.<sup>3</sup>

„Трибун, которого не надо заставлять высказываться”, защищающий, весь раскрасневшись, то, что считает истинным”, Василий Григорьевич Власов „выступает с систематическими провокациями”. (Вашему вниманию, читатели *Юманите*: если Солженицын и занимается апологией Власова, то Власов этот — не генерал, прославившийся своим предательством, а простой директор районного кооператива). Процесс продолжается наподобие процесса Черных Пантер в США (правда, в гораздо более суровой атмосфере): Власов предлагает прокурору сесть рядом с ним на скамью подсудимых, и т. д. Приговор — высшая мера — не встречается положенными аплодисментами. Власов снова „провоцирует”. Полицейский-начальник теряет контроль над происходящим, полиция направляет оружие на публику, в зале паника, в районном городке волнение. „Теперь каждый разумный человек согласится, что если бы возюкаться с открытыми судами, — НКВД никогда бы не выполнило своей великой задачи”. У простых крестьян нет строгой марксистской выправки революционных знаменитостей, поэтому открытые

процессы в провинции „не привились”. Один человек, изолированный, пытаемый – что он перед громадной репрессивной машиной НКВД? Ничто. Однако машина эта не любит „возни” – поэтому сопротивление окупается.

Все это верно не только для России. Пущенный в ход нацистами механизм „окончательного решения” был в своем роде образцом. В гитлеровской Европе ускоренное уничтожение евреев казалось неотвратимым, запрограммированным. Однако в историческом плане нет ничего более ложного, чем образ непобедимой машины. Король оккупированной страны становится в оппозицию? (Дания) Профсоюзы и духовенство называют свое правительство коллаборационистским? (Болгария) Армия оказывается нерешительнее фашистской партии? (Италия) Этого довольно: Ничтожная песчинка останавливает ход механизма, запрограммированные жертвы ускользают от жертвоприношения. В малейшую брешь проникает утверждение солидарности: от укрывательства – до уличных манифестаций (как в Софии, под крики: „Мы хотим, чтобы евреи остались”, немцы обнаруживают, что их союзники „совершенно лишены понимания немецкой идеи”).

Омерзительная машина смертельно боится „возни”: когда во Франции в последний момент отменяют эшелон, так как в Бордо арестовано лишь 150 евреев, Эйхман выходит из себя и даже угрожает бросить Францию: „Если не будете заполнять вагоны, ваши евреи останутся у вас”.

Действенность помех вполне объяснима: ведь истребление в концлагерях – непременно государственная тайна. „Эта славная страница нашей истории не написана и никогда написана не будет...”, – доверительно сообщает Гиммлер избранным ээсовцам (4 октября 1943 г.). Нацисты всегда пишут „транспортировка евреев на Восток”, „новые методы воспитания”; к открытому истреблению железом и кровью они прибегают только в России и более скрыто – в завоеванной и изолированной Польше.

Скромность, такт, словарные изыски, сотрудничество будущих жертв при организации отправки в неизвестное;

истребление обходится без комментариев, оно должно учитываться „сознательное нежелание знать” общественного мнения, ему нельзя грубо оскорблять чувства окружающих: это дань уважения добродетели со стороны порока, не требующая особого труда — до тех пор, пока помехи не встряхнут добродетель как следует.

Спротивление не бывает тщетным, как только ему удалось породить „возню”. И тут история русских лагерей сразу начинает ставить вопросы не только о русском обществе, но и о западном. В исследованиях нацистской системы концлагерей перечисляются факторы, благоприятствовавшие депортациям в таком масштабе: молчание Папы Римского, его отказ принять еврейских беженцев, против которого выступили демократические страны, и т. д. Достаточно перечитать классические работы историков — Полякова, Вормсера и др. — и сразу видишь, что решительные протесты союзников, даже просто менее потворствующая их политика, могли бы повернуть или во всяком случае сдержать изменчивый, эмпирический бред нацистских руководителей (ср. долгое время любовно обдумывавшийся Гиммлером проект отправки всех евреев на Мадагаскар). Не предупредить жителей восточноевропейских гетто о нависшей над ними угрозе — означало помешать им вовремя подготовить сопротивление. Когда узнаешь, как важна была тайна для методов уничтожения, как старались нацисты ее сохранить, какое мужество требовалось немногим беглецам из первых душегубок, то понимаешь, насколько далеко за пределы лагерей простирается ответственность. Только в 1943 г. Гиммлер прекращает массовое использование газовых камер в Аушвице и пытается уничтожить их следы, боясь, между прочим, как бы не стали известны вещественные доказательства, могущие вызвать нежелательную реакцию.

Черчилль удостоился печальной чести быть проклятым дважды: пережившими Аушвиц и пережившими Колыму. В секретных статьях Ялтинских соглашений английское и американское правительства пообещали Сталину возратить принудительным путем русских, оказавшихся за пределами



новых границ СССР. Они захватили в Европе и Америке громадную волну русских послевоенных лагерников, миллионы, отданные в добычу „белой смерти” за то, что видели что-то кроме „государства социализма”. Однако лагерные власти уже были чувствительны к опасности для своей „революционной” репутации и для торговых отношений. Уже в 1930 г. первые сведения о принудительном труде в лесах Дальнего Севера вызвали угрозы эмбарго на экспорт советского леса, „срубленного руками рабов”; тогда лагеря перевели в другое место и организовали посещение их „рабочими делегациями”. Остальное сделали близорукость приглашенных социал-демократов, интересы спичечных фабрикантов, пропаганда партий, находящихся в крепостной зависимости. Позднее, в разгар Холодной войны, Запад начал широкую кампанию по поводу лагерей; русские, наученные опытом, ухом не повели и ответили разоблачениями по поводу колониальных каторжных тюрем. Мы ведь живем в едином мире, не так ли? Искусство всех устроителей лагерей предполагает умение играть на активном или пассивном соучастии государств-противников.

Лагеря — не роковая неизбежность. Всегда можно было сопротивляться — так ли или иначе, создавая тысячу „помех” — и, как правило, этого не делалось. Никакие другие соображения не зачеркнули эту возможность сопротивления. Колючая проволока внезапно перестает ограничивать лишь пространство и время лагерей. История Архипелага ГУЛаг — это история сопротивления концентрационной вселенной и, соответственно, история непротivления, допустившего ее существование и расширение. Читая это капитальное свидетельство о советском обществе, мы открываем скрытую географию Запада: на его карте появляется Архипелаг.

До какого предела возможно сопротивление лагерям? Пока не сказали своего слова вышедшие из ада, этот вопрос вызывал вялые и маловразумительные споры. Мораль противопоставлялась политике; идеалист, стремящийся сохранить чистые руки, но не имеющий рук, и реалист, неспособный сделать яичницу, не разбив яиц. Какую яичницу? Ка-

ких яиц? В любых размышлениях о лагере — моральных, политических, социальных — главным должен быть вопрос о лагерях. Лагерь могут выполнять множество функций: поставять рабов, повергать в ужас целые социальные слои, даже целые страны. Но в рамках одного грандиозного замысла они все постепенно становятся похожи друг на друга. Идея, лежащая в основе их создания — стремление задушить всякий бунт в зародыше. ЛАГЕРНАЯ СИСТЕМА, навязчивая идея тех, кто манипулирует миллионами рабов 20-го века, осуществляется путем предотвращения всех возможных видов сопротивления. Используемые методы повторяются из лагеря в лагерь: постоянная угроза СМЕРТИ за „отставание”, за шаг в сторону, за то, что кому-то не понравился. Зверства. Голод.

Влияние длительного, многолетнего голода на волю человека, на его душу — совсем другое, чем какая-либо тюремная голодовка или пытка голодом, доведенная до необходимости искусственного питания. Тут мозг человека еще не разрушен и дух его еще силен. Дух еще может командовать над телом. Если бы Димитрова готовили к суду колымские следователи, мир не знал бы Лейпцигского процесса.<sup>4</sup>

Разумеется, и неведение: еврей, сидящий в Треблинке и вынужденный выбирать между двумя шеренгами, спрашивает себя, какая из них ведет в газовую камеру, левая или правая. Русский заключенный не понимает, в чем надо признаваться, и не знает, останется ли жив к концу допроса. Да еще систематическое разделение заключенных, отбор осведомителей, натравливание уголовников на политических. И все это функционально, все это дело функционеров. Садизм, звериная жестокость надзирателей лишь подталкивают общее движение: подавление должно идти до конца, чтобы искоренить даже возможность сопротивления.

Некоторые выстаивают даже в этой крайности. Они не сразу себе это объясняют, подчеркивая, что им повезло. Надежда — враг заключенного, отмечают Солженицын и Шаламов, а до них — спасшиеся из немецких лагерей. Мираж и самообман смертельны. Еще более редкий вид сопротивле-

ния: ни к чему скрывать от себя жуткий успех лагерной системы, если на колымских золотых приисках продолжительность жизни — пять недель. Если беглецы, затерянные в ледяной пустыне, из которой не убежать, — добыча голодной смерти и охотников, — начинают поедать друг друга.

Встречались и другие людоеды. Это самые обыкновенные люди. На людоедах нет никакого каинова клейма, и пока не знаешь подробностей их биографии, — все обстоит благополучно. Но даже если и узнаешь об этом, — тебе это не претит, тебя это не возмущает. На брезгливость и возмущение такими вещами не хватает физических сил, просто места не хватает, где могли бы жить чувства подобной тонкости. К тому же история нормальных полярных путешествий нашего времени не свободна от подобных поступков: таинственная смерть шведского ученого Мальмгрена, участника экспедиции Нобиле — на нашей памяти. Что же требовать от голодного, затравленного полуживого человека, полуживого?<sup>5</sup>

**„Требуются люди управлять государством.  
Кухарок просят не беспокоиться”.**

Этот опыт, переносящий человека по ту сторону надежды, вынуждает к молчанию: „Я видел то, чего человек не должен видеть и знать” (Шаламов).

Те, кто вернулся, кто выстоял, сразу вступают друг с другом в неписанный сговор, заключаемый с первого взгляда, само собой разумеющийся с первого слова. Некоторые узники Бухенвальда хранят молчание вот уже тридцать лет и вот уже тридцать лет пытаются заставить кого-нибудь — хотя бы жену или сына — услышать это молчание. И этот крик с Колымы: „Я не шучу. Я не хотел бы сейчас возвращаться в свою семью. Там никогда меня не поймут, не смогут понять. То, что им кажется важным, я знаю, что это пустяк. То, что важно мне, — то немного, что у меня осталось, — ни понять, ни почувствовать им не дано” (Шаламов). Говоря философским языком, это можно назвать „переоценкой ценностей”, но это означало бы лишь переложение истинного

опыта на корявый язык поверхностной традиции. Суть самого черного знания 20-го века, то „немногое, что осталось” у сопротивляющихся заключенных, по-прежнему окружено молчанием. Если они и говорят, это лишь крохи, вырванные у бессловесного переживания.

Но стоит уцелевшим вступить в какую-то связь с миром живых — и это молчание становится мостиком. В *Матренином дворе* Солженицын показывает, как возникает эта связь безмолвия с безмолвием, недоговоренности с недоговоренностью. Между заключенным и бедной крестьянкой возникает общность, основанная на великом Отказе. Казенное красноречие не имеет над ними власти, царящий вокруг меркантилизм на них не действует — и это потому, что отверженность их не вынужденная, а в каком-то смысле **намеренная**. Уже после смерти Матрены золовки осуждают ее за то, что она не завела поросенка:

В самом деле! — ведь поросенок-то в каждой избе! А у нее не было. Что может быть легче — выкармливать жадного поросенка, ничего в мире не признающего, кроме еды! Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало.

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы... (стр. 160 — 161)

Остерегайтесь попыток развести Матренин аскетизм розовой водицей нравоучительной истории: возмущение советских цензоров показывает, что они увидели в нем заряд протеста, которого не найдешь в картинках на религиозные темы. Быть может, они почувствовали, что тот самый суд истории, которому они привыкли отдавать на заклятие своих подчиненных, теперь работает против них. Быть может, они начали подозревать, что у пресловутой кухарки — той самой, ленинской, призванной управлять государством — есть свое мнение о пятидесяти годах, прожитых ею при социализме, хоть она и молчит, зажата между старинной русской печью,

работой в колхозе, торфом, который приходится воровать, чтобы было чем обогреться зимой, и воспоминаниями о сгинувшем на войне муже.

Герой *Круга первого*, заключенный интеллеktуал Нержин, спрашивает о том же крестьянина Спиридона. Затрудненность, колебания его при этом не менее показательны, чем божественно ясный ответ, блистательный, как афоризмы первых греческих мыслителей. Этот диалог подводит черту под той исторической эпохой – к сожалению, нашей – когда „отец диалектики” Гегель определил крестьянство – эту „субстанцию” истории – коротко и ясно: живая материя, лишенная самосознания, бессловесное пушечное мясо, удобрение для цивилизации. Вспомним, с каким презрением Ленин говорит о „лизании зада мужику”. С трудом выраженный вопрос неслучайно вызывает ответ такой силы. Чрезмерная бойкость языка, эта привилегия немногих – на немоте скольких других она построена! Если Нержин хочет по-настоящему выспросить Спиридона, он должен быть корявым:

– Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученая у тебя жизнь, да ведь наверно, не у одного тебя, у многих... у многих. Все чего-то ты метался, пятого угла искал – ведь не спраста?... Вернее, как ты думаешь – с каким... (он чуть не сказал – „критерием”) ... с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло? Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было? Вряд ли, а? Может быть люди-то все хотят доброго – думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок (...). Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав, так вмешиваться можно или нет? Это мыслимо разве – человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?

– Да я тебе скажу! – с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. – Я тебе скажу: волкодав – прав, а людоед – нет!

– Как-как-как? – задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

– Вот так, – с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину и горячо дыша ему в лицо из-под усов: – Волкодав прав, а людоед – нет.<sup>6</sup>

Наука власть имущих с незапамятных времен усиленно пытается стереть в умах у управляемых всякую способность ясного различения господствующих и подчиняющихся. В концентрационных джунглях жертва должна одновременно быть палачом; разложенность удваивает угнетение. И в Бухенвальде, и на Колыме заключенных призывают организовывать жизнь лагерей, палачи заставляют их делать свою работу, они предоставляют полномочия неустойчивым иерархиям (в мире, где минимальнейшая власть решает, кто сегодня умрет). Каждый заключенный должен убедиться, что человек есть людоед; совесть выжившего, если она у него осталась, должна быть мучима стыдом за то, что он выжил.

Ясно было одно: мы будем возвращены в лагерную зону, опять войдем в ворота с казенной надписью: „ТРУД ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ, ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА”. Говорят, что на воротах немецких лагерей выписывалась цитата из Ницше: „КАЖДОМУ СВОЕ”. Подражая Гитлеру, Берия превзошел его в циничности.<sup>7</sup>

На самом деле на воротах Аушвица было написано то же самое: „РАБОТА ОСВОБОЖДАЕТ”. Но именно марксизм поднял развращенность лагерной системы до той высшей, так никогда и не достигнутой нацистами (им не хватило политического образования) стадии совершенства, когда единственные имена у жертвы для палачей – это имена товарищей и братьев (в сегодняшних русских лагерях слово „капо” в переводе на марксистский язык означает „активист”).

Все та же непобедимая мелодия, через столько уже процессов, лишь в вариациях: ведь мы же с вами – коммунисты! И как же вы могли склониться – выступить против нас? Покайтесь! Ведь вы и мы вместе – это мы!

Медленно зреет в обществе историческое понимание. А когда созреет

– такое простое. Ни в 1922-м, ни в 1924-м, ни в 1937-м еще не могли подсудимые так укрепиться в точке зрения, чтоб на эту завораживающую, замораживающую мелодию крикнуть с поднятою головой:  
– Нет, С ВАМИ мы не революционеры!... Нет, С ВАМИ мы не русские!... Нет, С ВАМИ мы не коммунисты! А кажется, только бы крикнуть! – и рассыпались декорации, обвалилась штукатурка грима, бежал по черной лестнице режиссер, и суфлеры шнырнули по норам крысиным.<sup>8</sup>

На дне этой бездны главным оказывается „то небольшое, что осталось”: выдержать – значит сохранить среди всеобщего скотства и разложения способность отличить неистовую самозащиту волкодава от людоедского пожирания друг друга. В диалоге Нержина и Спиридона крайняя степень безмолвия – колымское – сталкивается с вековым безмолвием европейского крестьянства. Вот обо что ломается вся премудрость власть имущих: задавленные все равно видят разницу между насилием своим и своих хозяев, видят благодаря мудрости, восходящей к далекому прошлому:

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша. (*Матренин двор*, стр. 161)

Этот спиридонов принцип, это различие между волкодавом и людоедом, проходящее через всю русскую литературу, озаряет собой основополагающий опыт 20-го века. Попытки определить правое и неправое делались народом с древнейших времен, и нет худшей близорукости, чем пытаться нацепить на русские свидетельства этикетки, заимствованные у 20-го века – например, „популизм”. И сам народ, и путь к нему существуют в распыленном обществе, отданном в добычу власти, насчитывающей больше жертв, чем сотни Хиросим. Таковы „преимущества” нашей эпохи:

Но за замкнутым кругом шел еще хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, как образованным барам 19 столетия,

образованному зеку Нержину для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку: его просто турнули в народ, в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели вырабатывать норму. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, все время разнящийся и потому чужой барин, но – как сами они, неотличимый от них, равный среди равных.<sup>9</sup>

Ни один класс общества не вступает в лагерную войну во всеоружии, зная от рождения, что подобает волкодаву, а что – людоеду. Ни один не обходится без слабостей, питающих царящий вокруг деспотизм. Нержин раньше уважал интеллектуалов, но лагерь привел его к утрате иллюзий:

... эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сдачу, изощренными в оправданиях своей подлости, они быстро вырождались в предателей, попрошаек и лицемеров.<sup>10</sup>

Затем Нержин на какое-то время увлекается рабочими:

У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость все умеющих рук и философию жизни.<sup>11</sup>

Новое разочарование: взятые в целом, рабочие

... не стойче его переносили голод и жажду. Не тверже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительней, не изворотливей его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околоть.<sup>12</sup>

Свидетель выходит из лагеря не таким, каким туда вошел. Он возвращается с зарядом того немногого, что остается у человека среди предельных лишений. Этот заряд и входит в соприкосновение с нашим миром. Наш век выйдет из эры лагерей – если ему суждено из нее выйти – свободным от



прежней наивности. Корни людоедства придется отыскивать на глубине, немислимой 75 лет тому назад, и бороться с ними сопротивлением, которое все еще нередко — „terra incognita”. Когда Солженицын советует патриарху-осведомителю Пимену подумать о мучениках, которых бросали на съедение львам за восстание против другой Империи, неужели мы окажемся настолько глупы, что из „воинствующего атеизма” не захотим видеть сопротивление, проходящее через все века и народы европейской истории? Когда мы со знанием дела толкуем о Советском Союзе — государстве, которое обязано лаврами за истребление числа заключенных, кратного числу умерших в нацистских лагерях, не какому-то там духу, а просто-напросто имеющемуся в его распоряжении времени и пространству, — когда мы называем его **социалистическим**, а его историю **революционной**, откуда в нас эта глухота к откровенному смеху будущих поколений над нашими теоретическими дебатами? Откуда эта слепота к крови и слезам, которыми истекает наше время?

Не будем же перебивать этого, еще не завершеного свидетельства ради извлечения из него какого-нибудь морального или политического рецепта и нацепления еще одной этикетки. Не будем чревоушателями, не будем заставлять безмолвие лагерей говорить нашим голосом: безмолвие это, пребывающее по ту сторону надежды и страха, вносит в современную ученую трескотню недостающее целомудрие, общее для зека и Матрены. Попробуем лучше отыскать в тусклом зеркале Колымы собственное отражение, ибо это свидетельство вызывает к жизни вопросы о нашей собственной истории: о революции и контрреволюции, о демократии, о движениях протеста в Западной Европе. Попробуем услышать в нем эхо нашей собственной ответственности.

## Сибирский час

У нас в стране арест и изгнание Солженицына взволновали

простых людей. Мне довелось видеть это среди бунтующих вот уже девятый месяц рабочих Липа, в моем собственном квартале, да и в других местах. И слава Богу, потому что, читая газеты, мы как будто переносимся на четверть века назад. Самой новой была реакция правой прессы, ее осмотри- тельное негодование с едва уловимым оттенком восхищения: Брежнев правильно подошел к проблеме, не чуждой нам и здесь, со всеми этими патентованными возмутителями спо- койствия – сартрами, беллями, наумами хомскими. Впрочем, Пьер Эмманюэль не без колкости объяснил читателям *Фига- ро*, что „пришедший с холода” сверхчеловек ничем не может обнадежить сторонников западной системы; *Орор* сообщила, что он отпустил полицейских, поставленных перед его купе, так как они вызывали у него неприятные воспоминания. *Монд* иронизировала над не поддающимися классификации заявлениями этого волжского крестьянина. „Левые” показа- ли себя большими традиционалистами: ФКП, как подобает хорошему туристическому бюро, начала энную рекламную кампанию „родины социализма” и принялась изображать Солженицына разносчиком нацизма, поскольку он не хотел вкушать несравненные прелести партии пролетариата. Лидер левых некоммунистов восклицал, что интерпретировать мы- сли величайшего русского писателя неважно: главное – что он может самовыражаться; когда через несколько дней Солженицына выслали, он замолк и отрекся от немногих друзей, заметивших его промашку. Тому же атавизму под- далось большинство левых газет, разбиравших вопрос о том, можно ли поместить Солженицына „справа” от профессора Сорбонны, автора редакционных статей в *Фигаро* Раймона Арона, тем самым показывая, что Брежнева они без долгих размышлений помещают слева от него.

Есть и исключения, но правилом остается то, чем 25 лет назад были убиты зарождавшиеся раздумья о лагерях, о режимах, их порождающих, и о приютившем их веке.

Январь 1950 г. Редакционная статья в журнале *Тан модерн* – написанная Мерло-Понти, но опубликованная за подписями Мерло-Понти и Сартра – являет проблески здравого смысла,

который в наши дни нечасто встретишь. Прочтите и судите сами:

Один из нас уже писал два года назад, что советское общество не однозначно, что в нем проявляются как признаки прогресса, так и симптомы регресса. Если 19 миллионов жителей страны находятся в лагерях, тогда как на другом конце советской иерархии заработная плата и уровень жизни в 15-20 раз выше, чем у свободных трудящихся, — то количество переходит в качество, вся система меняет направленность и, несмотря на национализацию средств производства, несмотря на ликвидацию в СССР эксплуатации человека человеком и безработицы, мы спрашиваем себя, есть ли основания говорить о социализме в этой стране.<sup>13</sup>

И дальше:

Но вот эти идеи молодости начинают гримасничать, как старики, эти невинные мысли становятся верхом лицемерия и хитрости, их именем арестовывают каждого двадцатого из граждан страны, они украшают собой лагерь, где люди умирают с голоду, они прикрывают репрессии жестоко неравного общества, в котором под предлогом перевоспитания заблуждающихся уничтожают противников, под предлогом самокритики требуют отречения. Тогда все хорошее в них мгновенно становится ядом.

Делать эти признания нелегко, и делаются они напряженным тоном: нужно спасать то, что еще можно, от духа антифашистского сопротивления, сделать так, чтобы антифашистов не захлестнула холодная война, чтобы, выбрав ту или иную сторону, они тем самым не оправдали ее преступлений: как преступлений западного империализма, так и преступлений восточного принудительного труда. **Требуется:** „политика, не заставляющая выбирать между заключенными”. Вскоре приходит провал, озаменованный ссорой и расхождением Мерло-Понти, Камю и Сартра. Провал, далеко выходящий за рамки личных отношений: духовный подъем времени сопротивления угасает среди противоречий послевоенной эпохи.

Чтобы задуматься о столь очевидных вещах, не нужно

быть философом: множество наших соотечественников, интеллектуалов и не интеллектуалов, размышляло об этом наедине с собой. Для этого достаточно было минимальной информации. Удивительно другое: политические эрудиты быстро постарались заставить всех эти истины забыть. СССР — критикуемый, поправляемый, прославляемый или отвергаемый — в большинстве дискуссий, которыми изобилowała последняя четверть века, все-таки воспринимается как государство рабочее, революционное, социалистическое. Те, кто призывает к „социализму с человеческим лицом”, не сомневаются при этом, что бесчеловечное — о, какое бесчеловечное! — лицо остается лицом социализма, плотью от их плоти... И совсем в другом смысле — кровью от их крови. Эта круговая порука интеллектуалов является почти всеобщей; декларации московских „кормчих” принимаются всерьез не только левыми крестинами, но и не такими уж (хотя не менее ограниченными) крестинами правыми, не упускающими случая подчеркнуть тесное родство между Москвой, революцией, пролетариатом и социализмом. Да подите вы!

С какими преградами столкнулись эти „антисоветские” очевидности, выраженные черным по белому, с силой, которую сегодня найдешь только у русских диссидентов? 1950 год; в тогдашнем интеллектуальном мире циркулируют новые истины, опровергающие прежние. Первая: коммунизм ЕДИН, одна и та же идея мобилизует русский народ, французского рабочего и китайского кули:

Читатель *Монда* недавно написал в газету, что все сведения о советских трудовых лагерях вполне могут быть правдой, но что в конце концов он — рабочий, не имеющий ни денег, ни крыши над головой — всегда находил больше поддержки у коммунистов, чем у всех остальных. Разумеется, газета поспешила открыть ему подписку, чтобы никто не мог упрекнуть ее в жестокосердии к отверженным. Несчастье в том, что для такого проявления филантропии понадобилось такое письмо. Но перейдем к коллективу: вполне возможно, что китайский коммунизм когда-нибудь пойдет по линии русского и в конце концов создаст иерархическое общество с новым типом эксплуатации; однако, несмотря на это, в ближайшем будущем только

он способен вывести Китай из хаоса и живописной нищеты, которые ему оставил в наследство международный капитализм. Каков бы ни был характер нынешнего советского общества, в равновесии сил СССР, грубо говоря, находится на стороне тех, кто борется против известных нам форм эксплуатации...<sup>14</sup>

Резюмируем: когда Берия приказывает приколотить к воротам лагеря знаменитую надпись „Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства”, то это (первая очевидность) — „верх лицемерия и коварства”. Шаламов говорит о „цинизме”. Мерло-Понти, как и он, подчеркивает тут разницу между нацистским и русским лагерем: „Заглядывая в истоки системы лагерей, мы измеряем глубины иллюзий сегодняшних коммунистов. Но именно эти иллюзии не позволяют путать коммунизм с фашизмом” (*Тан модерн*). Сходные предпосылки приводят, однако, к диаметрально противоположным выводам. По мнению Шаламова, „Берия, подражавший Гитлеру, превзошел его в циничности”. По мнению *Тан модерн*, лицемерие русского „коммунизма” выгодно отличает его от менее хитрого нацизма. Цинизм его спасает, „в нем сохраняются ценности (революционные и гуманистические) помимо его воли”. Статьей этой *Тан модерн* не смог окончательно разрешить всех противоречий, и статью быстро забыли, вместе с ее редкой ясностью и трезвостью.

Итак, мы либо продолжаем стоять на первой очевидности: русский или нацистский, лагерь есть лагерь. Тогда марксизм русского правящего класса только усиливает его цинизм и лицемерие. И тогда сразу снимаются другие очевидности. Неужели во имя „одних и тех же ценностей” освобождается китайский крестьянин, надеется на революцию французский рабочий и сидят в тюрьме русский рабочий с крестьянином? Неужели система ценностей у антифашистов, отвергающих лагерь, та же, что у коммунистов, эти лагерь одобряющих? Да и сами эти ценности разве не становятся внутренне сомнительными, когда их выставляют напоказ на лагерных воротах?

Либо же мы делаем вид, что этот пересмотр ценностей не

затрагивает марксизма, и таким образом спасаем вторую серию очевидностей. Тогда придется принять образ какого-нибудь Берии, революционера „помимо своей воли”, какого-нибудь Сталина, который, творя зло, служит делу добра. Придется объяснять, что лагеря и ссылки „помимо своей воли” способствуют приятию человека человеком, построению бесклассового общества. Придется разными путями внушать, что лагерь **перестает** быть лагерем, принудительный труд **перестает** быть принудительным трудом, истребление **перестает** быть истреблением, если убийства совершаются во имя социализма. А так как подобные „объяснения” часто украшаются цветами утонченнейшего религиозного красноречия, то в конце концов мы начнем „вычитывать” разумность в коварстве Берии и обнаружим в верхе лицемерия таинственную мудрость Истории. Этой спасательной операции марксисты выучились у Гегеля, причем одновременно у Гегеля буржуазной политической экономии (невидимая десница, чья милость обращает эгоистическую погоню за наживой ко всеобщему благу) и у Гегеля классической теологии (Божественное Провидение, устраивающее земные бедствия, имея в виду Верховное Благо).

Разумеется, подобная дискуссия опровергает общепринятые идеи; поэтому никто не отказывает себе в удовольствии бесконечного обсуждения формулировок, в тайной надежде похоронить главный вопрос: действительно ли ценность этих идей, их гражданская добродетель „превратилась в яд”?

„Альтюссерянец” на это скажет: не будем говорить о „ценностях”, это ошибка, марксизм — наука, а не мораль. „Гародианец” начнет противопоставлять ложные ценности сталинизма истинным ценностям „марксизма с человеческим лицом”. Брежнев будет кормиться из двух кормушек, молодое поколение марксистских теоретиков — из третьей.

Что это меняет? Вы можете считать нависающий над входом в лагерь нацистский лозунг „ценностью”, осадком от чтения *Капитала* — чтения, как легко доказать, ошибочного, — но вам все равно не скрыться от грозного факта: с самых своих ворот лагерь щеголяет марксизмом. Схитрите ли вы

в свою очередь, скажете ли, что это „марксизм помимо своей воли” — и вьедете напрямиком в доклад какого-нибудь Хрущева, который, осудив Сталина, затем восстанавливает его престиж и сохраняет лагерь. Под прикрытием этого доклада нынешняя правящая верхушка вводит новшество: психиатрические больницы — эти „газовые камеры духа”, куда помещают оппозиционеров. Все эти хитроумные оправдания хитрости Берии интересами Разума, все разговоры об „ошибках”, также как и разглагольствования о спутниках и об „экономическом развитии” СССР, обходящие лагерь молчанием, — все это мы уже слышали. Эти аргументы пятьдесят лет не сходят с уст хозяев России, их всеми средствами пытаются вырвать у подсудимых-оппозиционеров, их нехотя цедят даже жертвы, которым навязывают язык палачей. Хитрость Сталина в том и состоит, что она — хитрость Разума. Бессмысленно воображать, что для него марксизм — это одно, а цинизм — совсем другое. Его марксизм циничен, а цинизм его действителен только потому, что выступает под именем марксизма:

... Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро или как осмысленное закономерное действие. Такова, к счастью, природа человека, что он должен искать ОПРАВДАНИЯ своим действиям.

У Макбета слабы были оправдания — и загрызла его совесть. Да и Яго — ягненок. Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что у них не было идеологии.

Идеология! — это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки, и слышать не укоры, не проклятия, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — возвеличением родины, колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы (ранние и поздние) — равенством, братством, счастьем будущих поколений.<sup>15</sup>

Мертворожденные соображения *Тан модерн* 1950 г. свидетельствуют не только об истощении антифашизма: они показывают, что замешательство, вызываемое нынче Солженицыным, объясняется нашей собственной историей. Если ле-

вые антифашисты, люди, не связанные партийной дисциплиной, не догматики, решили, что у них „одни ценности” с создателями лагерей, значит, под этикеткой „марксизм” скрывается нечто, связующее мир лагерей с нашим миром. Узел этот все стягивается, и мы оказываемся привязанными к хорошим людям, к палачам.

С нашей стороны было бы тщеславием считать себя умнее тех, тогдашних. Впрочем, изменились и условия задачи. Горизонт тех лет застилала „очевидная истина”: единство коммунистического движения и народного бунта. Ныне эта „очевидная истина” разлетелась на куски. Революции в „Третьем мире”, Культурная революция в Китае, движения протеста на Западе, возмущение офицеров в Португалии заставляют заподозрить, что в своей критике современного общества марксисты далеки от ясности и однозначности и не обошлись без тайного соучастия с существующим порядком.

Вопрос этот все еще не решен. Наши университеты с удвоенным пылом продолжают комментировать подновленный марксизм, общий для Брежнева, Мао, Троцкого и т. д. Профессора и организации ставят своей целью выискивание ошибок у тех и других. Марксизм роится группками, которые, каждая на свой лад, выкапывают какую-нибудь „ключевую” ошибку и бесконечно спорят между собой. Поэтому-то никого и не удовлетворяет *Архипелаг ГУЛлаг*, не отделяющий марксизма от лагерей. Лагеря и марксизм не являются чем-то внешним по отношению друг к другу, их нельзя разделить, подобно тому как классический моралист отделяет заблуждение от истины, или теолог — бедствия мира от запятнанного божественного всемогущества. Суровое замечание Солженицына могло бы фигурировать уже в редакционной статье *Тан модерн* 1950 г., где говорилось: „Не будет ответом на наш вопрос и обвинение во всем бюрократии с ее эгоистическими интересами: нет людей, руководимых одной лишь корыстью; все всегда запасаются еще и убеждениями”. Иначе говоря, без марксизма нет русских лагерей. Невозможно переложить груз заблуждений на одну бюрократию. Невозможно оставить в покое марксизм, из которого лагер-



ные охранники — бюрократы или не бюрократы — черпают свои убеждения.

Зачем нужен марксизм?

Вполне вероятно, что эволюция, которая принесла миллионам рабов Октябрь 17 года и которая, под прикрытием одних и тех же слов и формул, понемногу меняет направленность системы, совершается постепенно, ненамеренно, с каждым новым кризисом, с каждым новым выходом из положения, и что ее значение ускользает от ее создателей. Поставленные каждый раз перед выбором дальнейшего ухудшения ситуации или политической гибели, они продолжают двигаться в прежнем направлении, не видя, что дело меняется у них на глазах. Не имея фона, чтобы себя увидеть, лучшие из них, наверное, удивляются крикам ненависти, доносящимся до них из мира капитализма.<sup>16</sup>

Вот мы и подошли к *Архипелагу ГУЛаг*: марксизм питается не только убеждениями, но и нежеланием видеть. Он скрадывает „фон”, который помог бы увидеть „постепенный” рост мира лагерей. Этот яд, уже изначально присутствующий в „достоинствах”, это умение закрывать глаза, эта техника ослепления — подозрение о них, проскользнувшее в цитируемом параграфе, быстро улетучилось. *Тан модерн* просто предположил, что необходимым „фоном” должен быть более просвещенный марксизм. Журнал плакался: после 1917 года-де уцелели не лучшие головы гуманного марксизма, — забывая, что головы рубились и позволяли себя рубить во имя марксизма.

Голоса русских лагерников неумолимо новы. Задник, на фоне которого вырисовывается обобщенный рак советского общества, составляют именно лагеря. Если марксизм не позволял увидеть (или позволял не видеть) рост Колымы, то теперь видно, как пятьдесят лет подряд режим объедался марксистскими заявлениями — и сколь необходима ему была эта пища! Колыма — это обязательная точка зрения на марксизм. И здесь-то и есть больное место. Не потому ли просвещенный Запад плохо принял Солженицына, что наши светозвуковые феерии устарели на полвека? Мы до сих пор не задумывались о том, что же делает марксизм душой без-

душного строя, его интересы — государственными интересами, а его действенность — оружием империи.

### **Философ, удобрение и сабо поэта**

Сопrotивление, порожденное сибирскими лагерями, есть сопротивление марксизму. Оно не ограничивается выискиванием в нем мнимых „ошибок” и искажений, оставляя это занятие просвещенным марксистам, т. е. старым и новым охранителям лагерей, которые пользуются случаем восстановить подновленную девственность. На этот раз не интересы марксизма наносят смертельный удар сопротивлению, но, напротив, сопротивление отвергает марксизм, оставляя его без покровов. В России марксизм стал государственной наукой, искусством дрессировать людей (впрочем, марксисты к этому готовились, начиная со 2-го Интернационала, а немецкая социал-демократия — еще с довоенных лет).

Обратимся теперь к мыслителю, достаточно широкому, чтобы прочесть Солженицына, и достаточно марксисту, чтобы остаться невосприимчивым к этому свидетельству, которое он справедливо называет **плебейским**. Венгр Лукач читает Солженицына с сочувствием: не потому, что он „человек культуры” — эрудиция помогает ему прикрыть частые отвлечения — но потому, что когда-то из собственного окна видел народный бунт против марксистского государства. Потому что тогда не побоялся спуститься с балкона и выйти на улицу.

Если бы марксизм не питался идеями мятежного народа, то не был бы столь устрашающе действенным. Но как он переваривает эти идеи? Лукач точно улавливает, что все творчество Солженицына построено вокруг идеи сопротивления. Это и есть секрет, который в *Одном дне Ивана Денисовича* помогает раскрыть истину и о лагерях, и об окружающем их обществе.

Несмотря на то, что лагерь представляет собой последнюю крайность

системы, Солженицыну удалось, не выходя из серых тонов, нарисовать аллегорическое изображение всей повседневной жизни при Сталине. И удалось это ему именно благодаря поэтической постановке вопроса: чего требовала эта эпоха от людей? Кто сумел сохранить свой человеческий облик, свою цельность? Кто – и как – **выстоял**? В ком сохранилась человеческая сущность? В ком она была замутнена, затоптана, уничтожена? Строго ограничивая себя лагерной жизнью, Солженицын сумел поставить эти вопросы на уровне одновременно конкретном и обобщенном. Разумеется, и у свободных людей нет недостатка в социально-политических дилеммах, с которыми их постоянно сталкивает жизнь, но в лагере **выбор** капитуляции или сопротивления в такой степени определяет конкретное выживание или конкретную гибель, что подымает на высоту типического и всеобщего любое решение с непоправимыми последствиями.<sup>17</sup>

Лукач видит в произведениях Солженицына приключенческие романы, в которых человек сталкивается не с природой – как у Конрада или у Хемингуэя – а с не менее чуждым и враждебным обществом. „Малейшая деталь возводится здесь в дилемму: спасение или гибель”. Борясь с природой, человек в конце концов познает ее, сопротивление есть путь к познанию. Это суровая школа. Но еще суровой школа борьбы со второй, людоедской природой человека, против которой выступают товарищи Солженицына.

Дальше Лукач не идет. Разумеется, он считает лагерь мерзостью, но отказывает заключенным в способности понять врага. „Волкодав прав, а людоед – нет”. Для Лукача это лишь выражение ограниченности крестьянства, которое никогда не спрашивает себя „ни позитивно, ни негативно о социальных мотивах своего выбора”. Выражение „бытия и сознания заурядно плебейского, бытия, едва достигшего уровня самосознания”. Когда Нержин приветствует в лице Спиридона „прототип человечества”, то „в устах такого разностороннего и пронизательного человека как Нержин, это – явное доказательство духовной странности, даже дикости”. На этой странности Солженицын строит *В круге первом* – значит, тем самым он доказывает свою ограниченность: „В литературном плане Солженицын является не коммунистическим, а чисто плебейским критиком эпохи сталинизма”.

Резюмируем: Лукач признает, что в свете сопротивления раскрываются не только лагерь, но и окружающее общество. Однако он отказывается признать, что сопротивление есть понимание этих лагерей и этого общества. Между тем в других случаях он это признает: бороться с природой — значит познавать ее. Дело здесь просто в том, что место уже занято. Истинное понимание „эпохи сталинизма” является прерогативой марксизма. Даже если такого понимания до сих пор нет и следа, что признает сам Лукач...

Подумаем об этом. Место зарезервировано на все времена другим знанием, которого не существует и которое проявляется одним-единственным образом: отнимая у сопротивления возможность понять, чему оно сопротивляется, кастрируя его во имя марксистской пустоты.

Кем же зарезервировано место? Лениным, отвечает Лукач, имея в виду ленинскую работу *Что делать?* (заимствованную у Каутского): социализм и марксистское сознание приходят к рабочим „извне”. Не от их „стихийного”, ограниченного, так называемого „экономического” сопротивления. Эту работу можно критиковать бесконечно. Возможно, Лукач использует ее преувеличенно, раздувая ее значение до головокружительных масштабов. Неважно: в этой преувеличенности он верен духу Каутского, первого марксистского папы, верен некоему всеобщему идолу Ленину и доктрине, вот уже пятьдесят лет проповедуемой советским государством. Человек, сопротивляющийся — даже справедливо — не может знать, чему сопротивляется и как надо сопротивляться. Знающему же нет нужды сопротивляться: он и так знает, что делать ( и что приказывать делать другим).

Этим у сопротивления сразу отнимается не только способность понять, но и возможность словесного выражения. Лукач уже довел до нашего сведения, что самостоятельно плебс может „едва достичь уровня самосознания”. Что это значит — объясняет легкая заминка философа:

Критика современной цивилизации, приходящей в столкновение с силами, скрытыми в недрах народной жизни, может в сфере искусства

сохранять патетику разрушительного обвинительного акта: достаточно вспомнить *Cantata Profana* Бартока. Но идя дальше, этот жанр сразу превращается в активное плебейско-революционное обвинение, которому в искусстве, а особенно в музыке, не нужно ставить перед собой конкретно достижимых целей, чтобы толкнуть на неповиновение в основных областях человеческой жизни. Для Нержина, разумеется, не существует никакого выхода в эту сферу, и именно поэтому в нем усиливается тенденция к странности, незамедлительно проявляющаяся в таких случаях.<sup>18</sup>

Нержин не пишет музыки, он живет в прозаическом мире слов и дел. В этом мире серьезности царит запрет (снимаемый только для искусства): гетевское восхищение простым человеком („смирнейший из людей есть совершенный человек“) не закладывает основ для сопротивления, для бунта („активное плебейско-революционное обвинение“); чтобы нас „толкнуть на неповиновение в основных областях человеческой жизни“, требуется, по-видимому, наука, „ставящая конкретно достижимую цель“. За Лениным, за этим жаргоном возвышается Гегель и вся тяжеловесная элитарная традиция, превращающая каждое народное слово в безнадежно запутанное выражение научной истины, в неудачно сформулированное мнение, которое „истинно“ могут сформулировать лишь ученые, видящие в каждом народном движении беспорядок, который необходимо программировать извне, т. е. сверху.

Этим, конечно, просто ставятся на место „мир искусства“ и „мир плебса“, „опереженные“ марксизмом, который общился к ясности сознания, связности речевого выражения и ответственности за свои действия.

На деле это „опережение“ — плохо замаскированное исключение. Твое неповиновение, твой бунт, твое народное чутье — все это ерунда, песенки, пока кто-нибудь не прикрепит к ним „конкретно достижимую цель“. А песенки, коли они не изложены по пунктам в правительственной программе, подстрекают на бунт только „в сфере искусства“. Нет серьезных слов, кроме „слов учителя“. Если ты просто кричишь, замолчи. Если твоим сиюминутным сопротивле-

нием не глаголет будущее государство, значит, тебе нечего сказать. Марксизм не „опережает” плебеев: он направлен против них.

Иван Денисович – живое выражение основополагающего контраста между сопротивлением и капитуляцией: прекрасно схвачено! Однако этот сочувствующий марксист не может понять такого сопротивления, так же как не может предать гласности секретную капитуляцию. Жена председателя колхоза может и умеет поставить „конкретно достижимую цель”, но Матрена для изощренного марксистского уха нема. Лукач ограничивает свои требования нежеланием слышать ничего, кроме речей-ставящих-цели, т. е., в сущности, правительственных. Он либерал; однако принимаясь выискивать недостатки в плебсе, который таких речей не держит, он превращается в цензора; выискивая в их молчании антиправительственную ноту, замаскированную и потому еще более угрожающую, он стал бы шпиком. Лукач останавливается на пол-дороге, но балансирует на самом лезвии ножа. Он либерал: пока рты Ивана и Матрены заткнуты, пока они не выходят за пределы мирков искусства и плебса, их слова не принимаются всерьез. Начни они сопротивляться, кричать о справедливости на площадях со всем плебейским иступлением Колымы и со всей силой поэзии, вздумай только мир искусства и мир плебса вместе начать оспаривать официальную мысль – и фикция либерализма испарится, а в дело вступит полиция. Собственно говоря, она-то и управляла с самого начала; это она воздвигла произвольные преграды перед искусством и плебсом, и она же намеревается их подчинить серьезному – правительственному – слову, которое будет ими управлять, оставаясь само вне досягаемости. Ивану и Матрене все время угрожает **второй срок**: и в практическом смысле (арест и отправка полицией в лагерь), и в теоретическом (отправка марксизмом в „мир плебса”, находящийся под неусыпным надзором, ибо не созрел, „едва достиг уровня самосознания”).

А вдруг Иван сопротивляется, и гораздо больше, чем подозревает наш философ? Точно так же как сопротивляется марксистской болтовне...

О, он не так „культурен“, как марксистский болтун, он не занимается „теоретической критикой“. Но зато у него есть уши: он прекрасно слышит и понимает речи о привнесении ему целей „извне“. У него верное чутье, и он отказывается принимать это „извне“:

Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их – все равно как латышей или румын (стр. 96).

Московские интеллектуалы, товарищи по заключению, просто морочат себе самим головы; читая газету, они мнят себя участниками художественной жизни столицы, и вот им уже кажется „очень интересной“ вполне сталинистская критика пьесы, воспевающей величие вождя... Для них действительность – Москва, не лагерь.

А вдруг Иван видит яснее, ибо отвергает марксистские очки? Он видит лагерь. Он не пребывает на свободе в Москве, оставаясь в то же время заключенным в лагере. Ему и в голову не приходит обратиться к охранникам как коммунист к коммунистам, как это делает „салага“-капитан, которому он потом отдает часть драгоценной порции супа. Его трезвость – это плебейское достоинство: он не вступает в сговор с хозяевами ни в политическом, ни в культурном отношении. У него даже есть над ними преимущество: он, в свою очередь, умело управляет ими „извне“, хитря при каждой возможности, а в случае необходимости, вооружившись заступом, вместе с товарищами угрожает им смертью.

А вдруг мысли Ивана глубже? Ведь если он остается на своем месте, то не потому, что не мог бы его сменить, будучи слишком ограниченным для политических бурь в сознании, как у капитана. Нет. Его отказ – не вынужденный, а **намеренный**. Для всех российских Иванов хозяева создали разного рода приманки. В лагерях служаки поддаются на приманку корысти, Матрена же отказывается даже от личного

поросенка. История продажи ковров, на которые кидаются деревенские соседи, дает Ивану возможность выразить свой великий Отказ. Он не сотрудничает оттого, что не хочет. Даже, может быть, больше всего не хочет, вот уже сорок лет:

Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отста-  
вать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те  
ковры браться. Для них развязность нужна, начальство, милиции на  
лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет поло-  
вины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого  
и в лагере не научился (стр. 35).

Ну а большая политика? Поразмыслим: разве Иван не  
делает глубочайшего критического осмысления опыта, когда  
насмешливо наблюдает заключенного художника, у кото-  
рого ноги в лагере, а голова в Москве? Или капитана, кото-  
рый, живя в рабстве, думает, что живет в мире социализма?  
Ради успокоения своих жертв русские хозяева понаделали  
там и сям разные искусственные райские кущи — культур-  
ные, политические (когда-то религиозные): воображаемый  
потусторонний мир всеобщего примирения. Неплохое ис-  
пользование марксизма как опиума для народа. Иван этому  
не поддается благодаря своей плебейской трезвости: есть  
волкодавы, такие как он; против них — людоеды; там, в  
потустороннем мире, нет ничего.

„Мир искусства” и „мир плебса” сходятся в противосто-  
янии миру ГПУ.<sup>19</sup> Свидетельство тому — объяснение текста,  
предлагаемое Нержиным в разговоре с охранником о самом  
сокровенном из русских поэтов, Есенине:

Перед зеками, которые Шикина не боялись, Шикин сам испытывал  
тайную боязнь — обычную боязнь хорошо одетых и благополучных  
людей перед плохо одетыми и неблагополучными. Его власть сейчас  
плохо защищала его. На всякий случай он встал и приоткрыл дверь.  
— А это как понять? — прочел Шикин, вернувшись в кресло:

Розу белую с черной жабой  
Я хотел на земле повенчать...

И дальше тут... На что это намекается?



Вытянутое горло арестанта вздрогнуло.

– Очень просто, – ответил он. – Не пытаться примирить белую розу истины с черной жабой злодейства!<sup>20</sup>

Незабываемый момент, когда искусство и плебс открывают, что они одного мира, и воздвигают „непереходимый предел, который нельзя перейти, не став людоедом”.

Отводя для искусства огороженный островок, а для „крестьянской непосредственности” огороженный зоопарк, марксистский мыслитель не понимает не только Солженицына, но и Ивана, и Есенина, и всю эту землю, где колючая проволока, изолирующая заключенных от „вольных”, отделяет в каждом из нас человека от людоеда. Невероятно хрупкий и драгоценный поэт Осип Мандельштам угас в дальневосточном лагере за то, что назвал Великого Вождя людоедом в несравненных стихах, прочитанных десятку человек... „На что ты жалуешься? Только у нас уважают поэзию. За нее даже убивают. Больше этого нигде нет” – сказал он когда-то жене.

Кто же ограничен: Матрена, борющаяся с повседневной ложью советской жизни? Иван, побеждающий собственный жестокий терроризм? Только их сопротивлением и обуздывается окружающее людоедство. В системе круговой поруки – масле, которым палач умаливает свою жертву – они не соучастники. Они сохраняют четкое различие друга и недруга (принцип Спиридона). Значит, они понимают в этом больше, чем все склонные к диалектике ученые мужи. Да и к кому же, как не к ним, нам обратиться, если мы хотим понять СССР? У них нет „четко поставленной цели”? Зато они знают, как сделаться неуязвимыми для системы террора и коррупции. Но ведь сопротивление – это уже цель! Обнаружить, что среди мерзейшей из мерзостей можно не стать мерзавцем – вот что важно! Именно таким путем, идя на великое одиночество, угнетенные вступают в общение друг с другом. В этом их изначальная сила. Отправляясь в еще более чудовищные лагеря, Нержин думает о жене, которая отныне будет для него недоступным „призраком”; режим

постарается ее с ним развести... и все-таки он отказывается отречься:

Но чем ниже я опускался в нечеловечески-жестокий мир, – тем, странным образом, я чутче прислушивался к немногим, кто и там призывает к совести. Она не будет меня ждать? Пусть не ждет! Пусть я умру в красноярской тайге никому не нужным. Но, умирая, знать, что ты не подлец – это тоже ведь удовлетворение.

Эти „парадоксальные” открытия, сближающие его с Иваном и Матреной, Нержин делает в поисках истоков сопротивления. Так почему же философу кажется диким и странным братание этих двух ссыльных: интеллектуала и крестьянина? Почему он глух к этим открытиям, если не потому, что марксизм его направлен против плебеев?

## **О необходимости гладить Историю против шерсти**

Если бы нам пришлось объяснять Ивана, Матрену, Нержина и Солженицына преподавателю марксизма, мы бы делали это в его манере, т. е. предложили бы простую и вместе с тем грандиозную схему развития истории, начиная с каменного века и кончая матрениным. Итак, Маркс говорил (начинать надо всегда с этого), что сама буржуазия заставила нас взглянуть на свое время „трезвым взглядом”:

Она потопила священный трепет религиозного экстаза, рыцарского восторга, дешевой сентиментальности, в ледяной воде эгоистического расчета (...)

Все традиционные и нерушимые социальные отношения распадаются, вместе с сонмом издревле почитавшихся идей и понятий; все отношения, приходящие им на смену, устаревают раньше, чем успевают затвердеть. Все, что было постоянным и прочным, развеивается, как дым, все, что было священно, профанируется, и люди наконец оказываются перед необходимостью взглянуть на условия своего существования и на свои взаимные отношения трезвым взглядом.<sup>21</sup>

Теперь вернемся к нашей схеме. Итак, история „движется вперед”; русские должны противостоять новому деспотизму, но не могут узнать в нем прямого и открытого врага, против которого восставал Маркс („тем более пошлого, гнусного, раздражающего, что он открыто объявляет выгоду своей единственной целью”). Наш взгляд встречает уже не холодную корысть, не „ледяную воду эгоистического расчета”, позволяющие определить новые черты этого деспотизма. Только встав на точку зрения плебса, можно сорвать маску с его хотя и будничного, но скрытого лица, „пошлого, гнусного, раздражающего”. Этот „трезвый взгляд” дает нам только плебс. Деспот сам прочел Маркса и извлек из него выгоду. Поставим же часы по часам века, сумеем увидеть то, что видят русские.

Все обстоит не так просто. Нашу историю нельзя разбить на века. Прежде чем марксисты запрут в своем пантеоне мумифицированный труп, заметим, что и сам Маркс не так прост. Он ведь сталкивался с этим плебсом, и не только как с сутью проблемы — эксплуатируют-то именно его — но и как с сутью решения проблемы: ибо крот, прорывающий подземные ходы, подымая голову, оказывается вовсе не слепым. „Коммуна есть наконец найденная форма диктатуры пролетариата”. Найденная кем? Марксом?

Разумеется, он, как и Нержин, ничего не нашел бы, если бы не искал. Но первым эту форму искал и нашел народ, который **изобрел** это разрушение государства. В то время как его товарищи носятся — уже! — с идеей „народного государства”, которое должно извне, сверху руководить массами и их осчастливить, Маркс заявляет: „Могу сказать только одно: я не марксист”. Подозревал ли он, что приближалось, прикрываясь его именем? Разумеется, не подозревал, как не подозревал первый титан политической мысли молодой европейской буржуазии, Макиавелли, о том, что примут некоторые его читатели и соотечественники: став министрами абсолютистского государства, с которым всю жизнь боролся этот патриот и республиканец, итальянские советники освободили французских королей от последних

остатков совести... именем макиавеллизма, который с тех пор два с половиной века проклинают все гезы Европы. Не будем пытаться выяснить, смог ли бы Маркс избежать марксизма, если бы поставил или убрал лишнюю запятую: мы окажем ему плохую услугу, стремясь облечь его непогрешимостью и даром предвидения, которые уже и в устах папы вызывают у человечества лишь смех. Кроме того, если мы вздумаем выводить марксизм из ошибки или невнимательности Маркса, то быстро придем к оправданию кровавого марксизма вообще.

Подозревал ли о чем-нибудь Ленин, когда говорил о своих старых друзьях и многолетних верных соратниках: „Старый большевизм нужно отбросить”? Ученые мужи отвечают: „Постыдился бы, а еще марксист”; жена Ленина признается: „Боюсь, как бы Ильич не произвел впечатления сумасшедшего”. Действительно, автор *Что делать?* – фантастической апологии партии, вооруженной непогрешимым учением – вдруг поражается пространном трудом о Коммуне и о разрушении государства, где ни разу не упоминает о своей возлюбленной партии. В апреле 1917 г. он как будто лишается марксистского разума. Однако это бесстыдное безумие – не его изобретение: он обрел Коммуну в русском плебсе. Этот плебс, обезумевший от желания кончить войну, поделить землю и вырвать себе кусок хлеба, противопоставил русскому государству свое безумное стремление к свободе; он „наконец нашел” форму (Советы), в которую вылился его своеобразный „бред” – вылился раньше, чем вселился в Ленина.<sup>22</sup>

Этот плебейский авангард сумели увидеть и понять первые европейские сторонники Октябрьской революции. Самыми большими энтузиастами ее оказались синдикалисты-революционеры, десятилетиями боровшиеся против марксистских теорий и партий (Монат во Франции). От их имени молодой Грамши восклицает: „Революция против Капитала!” Имеется в виду *Капитал* Маркса, который „был в России в большей степени книгой буржуазии, чем книгой пролетариата”. Под вопрос ставится не легко модифицируемое тол-

кование книги, но само бремя марксизма, начинающее — только начинающее — давить на плечи плебса 20-го века, как макиавеллизм давил на плечи голоды 18-го столетия. „Марксистский” — это прилагательное истерто, как монета, прошедшая множество рук...” Грамши еще не знает, что на этой монете будет построена самая фантастическая „афера” века. Однако пробужденная Октябрем надежда молниеносно извлекает главное: „революция против *Капитала*” будет одновременно и „революцией не якобинской”, ибо марксизм и якобинство тождественны в том, что стремятся „заменить один авторитарный режим другим авторитарным режимом”.

Через два месяца после февральской революции 17-го года Грамши изрекает пророчество: движение русской революции пролетарское, потому что оно не авторитарное. Потому что рабочие и крестьяне выражают себя „в атмосфере полной свободы духа, голосованием, не искаженным ни вмешательством полиции, ни угрозой виселицы или ссылки”. И сам Грамши, и его читатели располагают лишь небольшим количеством сведений о молодой революционной России. Вся статья построена на **одном-единственном факте**, факте настолько, по-видимому, значительном, что он убеждает и автора, и читателей в пролетарском, социалистическом характере этой далекой и дошедшей до нас в процензурированном виде революции. Факт этот представляет собой „грандиознейший феномен, когда-либо порождавшийся человечеством”. Прочтем же скорее: „Русские революционеры открыли двери тюрем не только перед политическими заключенными, но и перед уголовниками”. Однако это еще не все: в одной из тюрем уголовники, по слухам, отказались выходить на свободу; они решили „искупить свою вину” самоуправлением и **выбрали самих себя в надзиратели**.

Почему они никогда раньше этого не делали? Не потому ли, что их тюрьмы были опоясаны стенами, а окна защищены решетками? Разумеется, у пришедших их освобождать были совсем другие лица, чем у судей и полицейских ищек, наверное, они услышали совсем другие, непривычные слова, если эти уголовники в мгновение ока стали

настолько свободными, что смогли предпочесть заключение свободе, настолько свободными, что сами, добровольно наложили на себя эпитимию. Должно быть, они почувствовали, что мир изменился, что и они перестали быть отбросами общества и стали чем-то, что и у них, партий, есть возможность выбора.<sup>23</sup>

Итак, этого уникального факта достаточно, чтобы принять революцию. Ну, а обратный факт? Что он должен за собой повлечь? Прочтите эти строки, вы, те, кто считает, что Архипелаг ГУЛаг – „ошибка”, „несчастный случай” – не мешает русскому государству оставаться рабочим, социалистическим, – короче говоря, более прогрессивным, чем буржуазные демократии. Правда, многие специалисты доказывают, что молодой Грамши – не марксист. Тем лучше для него, если полиция, аресты и виселицы – это атрибуты марксизма.

Однако все это лишь минутные просветления в марксистских головах. Марксисты скоро соглашаются, что надо вернуть реку „в нормальное русло”: руководить „усталым плебсом” извне. Праздник Советов эфемерен. Погасив иллюминацию, люди возвращаются к старому доброму марксизму. За примерами недалеко ходить: китайская компартия начала с верности марксизму, которому ее научили русские, но 90% ее активистов кончили под дулами наведенных винтовок или в паровозных топках; оставшись в изоляции, к кому прислушался Мао Цзе-дун? К голодающей деревенской бедноте, к тем, кого научный марксизм не учитывает. „Крестьянский глаз видит правду”: за эту компрометирующую связь с подонками – пролетариями в лохмотьях, традиционно не замечаемыми марксизмом – Мао впоследствии был исключен из среды своих равных.

Праздник бывает не каждый день. Часто плебс молчит, и тогда приходится говорить от его имени. Крот возвращается в нору, нужна партия, которая представляет его на поверхности и организует под землей. Есть воскресенье взрывов и марксизм буден, или черных лет. Этот марксизм пытается „извне” сохранить то, что можно сохранить. Разумеется,

он может и испортиться, но не пора ли с этим примириться?

А кто вам сказал, что плебс высказывается только по праздникам, подтверждая или пробуждая тот революционный дух, который вы приписываете марксизму? А что если плебс сопротивляется непрерывно, со всей требуемой для этого решимостью, сознательностью и объединенностью? А что если каждый раз когда марксизм называет черные годы **черными** и тем доказывает свой критический дух, это означает, что он просто нашел „наконец обретенную форму” этого духа в рядах плебса, среди тех, кто несет на себе бремя будней и может измерить его тяжесть?

Вот пример. Ленин в конце жизни довольно грубо отзывается о своих соратниках, особенно о Сталине, которого следовало бы, по его мнению, понизить в должности. Все восторгаются: какая прозорливость! Какой дар предвидения! Заметим, что речь идет не только о его коллегах: столь же малопочтительный словарь он употребляет при случае и относительно дела своей жизни — русской революции: „У нас все потонуло в смрадном болоте бюрократизма... Управление? Мерзость, сплошная мерзость”. Широко известно последнее высказывание Ленина о молодом советском аппарате: „Мешанина буржуазных и царистских пережитков, слегка тронутая советским лаком”. В своем приговоре он не щадит никого, а в особенности — „нас”, старую гвардию руководителей. „Мы не осуждаем публично эту бюрократическую сволочь и за это заслуживаем, чтобы нас всех повесили на вонючих веревках. Я не теряю надежды, что когда-нибудь нас за это повесят, и правильно сделают”, — пишет он в письме, датированном концом 1921 г. Вождь народов ругается здесь как застрявший в грязи ломовой извозчик: у кого перенял он эти подрывные разговоры? В то время уже расстреливали за меньшее.

**Кто судьи?**

Местные комментаторы взяли в привычку отсылать всех

к гению Ленина. Ученейший из них, Беттельгейм, утверждает, что именно „с точки зрения четкости и трезвости анализа” ленинские тексты „на голову выше” текстов его коллег, „включая большинство членов Центрального комитета, которые едва осмеливаются подправлять устаревшие формулировки”. Обязательный вывод: истинный марксизм Ленина на голову выше испорченного марксизма его соратников. „Именно благодаря опыту, накопленному в самой жизни партии большевиков, политическому и интеллектуальному мужеству и таланту диалектического материалиста, Ленин в целом оказывается впереди партии...”

Все это очень хорошо, если не считать того, что, обратившись к текстам, мы ничего особенно замечательного „с точки зрения четкости и трезвости анализа”<sup>24</sup> не увидим. Ленин поносит окружающую мерзость с грубостью, придающей поношениям особую силу, но когда хочет ее „проанализировать”, называет ее „бюрократической”, а тот же самый комментатор, у которого за плечами 50 лет дискуссий, признает, что на таком анализе далеко не уедешь. Поэтому он добавляет, что столь восхваляемый анализ — это лишь **набросок**... четкость и трезвость которого проявляются только ретроспективно, как „эскиз того, что позднее станет политической линией китайской компартии”.<sup>25</sup> Короче говоря, в Ленине уже зарождается Мао. Они оба великие люди, и великая марксистская наука у одного превосходит то, чем станет у другого.

На самом деле Ленин судит, исходя из советского опыта и вовсе не подозревая, что породит Мао. Полвека спустя Мао „мобилизует массы”, исходя из китайского опыта и из руководящей роли СССР. Но это неважно: между реальными людьми и научным марксизмом завязывается связь, они составляют одно целое. (Когда-то это называлось тайной Святой Троицы).

Все всегда возвращается: Беттельгейм ссылается на Мао, и это позволяет ему не без язвительности комментировать первые шаги СССР. К несчастью, он ссылается на него теоретически, в марксистской традиции. В Ленине дремлет Мао,



в Мао оживает Ленин, даже если между ними нет никакой действительной связи: Мао, стремясь быть ленинистом, тем не менее не борется против Сталина, так же как Ленин не борется против Конфуция... Но все это неважно: люди творят историю, не зная об этом. Зато Беттельгейм знает: разве не строит он ретроспективно историю идеального знания, переливающегося из головы одного Отца марксизма в другую? Все происходит на уровне вытянутых в цепочку профилей вождей, плебсу остается лишь слушать этот авторитетный диалог мертвецов... а интеллектuala теряет голову. Свою, разумеется: ведь что-либо понять он может только ретроспективно. В опубликованной в 1973 г. книге о Культурной революции в Китае Беттельгейм указывает на трагические ошибки, которыми испещрено предисловие Лин Бяо к мыслям Мао Цзе-дуна (1966), как и другие его статьи, вышедшие в то время в Пекине. Если речь идет, как он утверждает, о теоретических ошибках, то почему же он не увидел этих ошибок в момент выхода книги? Если для пробуждения теоретической совести ему надо было дожидаться случайной (случайной ли?) смерти Лин Бяо, то такая связь между глубокими истинами научного марксизма и тайнами аэронавтики нуждается в уточнении. Или птица „марксистско-ленинской” мудрости вылетает лишь с наступлением ночи, когда самолет штопором идет вниз?

Да не поймут меня неправильно. Шарль Беттельгейм не дурной человек: в недавнем прошлом он нашел слова для изобличения лагерей в обществе, которое тогда называл социалистическим, между тем как его коллеги-марксисты скользили мимо этого вопроса безмолвно, как ангелы. Он отнюдь не глуп, он, самый просвещенный из парижских марксистов; это еще яснее говорит о том, что марксизм гасит факелы знания, заимствованные у Маркса (т.е. у Мао). Вот уж действительно надо быть доктринером, чтобы считать, что судьбы русской революции решаются отношениями Ленина с его последователями: кабы нос у одного да был бы потоньше, а у другого да покороче... И вот перед нами второе рождение царицы Клеопатры, на этот раз в виде больше-

вистского Центрального комитета: разве не двигали историю прелести одной и теоретические слабости другого, по мнению Паскаля-Беттельгейма?

Однако главное решается вовсе не этим. Члены Центрального комитета поносят друг друга, как потерпевшие кораблекрушение из *Плота Медузы*: что же это за океан грозит их затопить? В чем они захлебываются как не в волнах крови и грязи, которые не столько преграждали плотинами, сколько питали? Как показывает Беттельгейм (а в действительности в еще большей степени), вождям-ленинистам не удалось выработать „линии масс”: не потому ли, что на практике они, с Лениным во главе, проводили линию „анти-массовую”, линию ЧеКа, полицейского террора и концентрации заложников? Позднее некоторые революционеры отважились указать на этот феномен: так, Роза Люксембург писала, что большевистская диктатура „была не диктатурой пролетариата, а диктатурой в буржуазном значении этого термина, в значении якобинской гегемонии”.<sup>26</sup> То же самое говорили и внутри России люди, делавшие Октябрь вместе с большевиками, старые союзники-эсэры. Один из них, И. Штейнберг, уже в 1921 г., подводя угрожающие и пророческие итоги ленинского террора,<sup>27</sup> цитирует письма Ленина Курскому (справедливо назначенному его последователем во главе Народного Комиссариата Юстиции). Как известно, в них Ленин предлагает **расширить** применение смертной казни и оправдать Террор при помощи „возможно более широкой формулировки”, причем сделать это „в политическом плане”, т. е. „не только в узкоюридическом смысле”. Штейнберг, как и Солженицын 50 лет спустя, подчеркивает, что из-под пера близящегося к смерти Ленина появляется решительное объявление войны: государство узаконивает свой террор против общества.

Как объяснить теоретику, что возможность „практической деятельности масс” снимается не просто ошибочным тезисом (для Беттельгейма это „экономизм”), но полицией? Что же до мыслей, населяющих головы руководителей, то по их поводу встает только один вопрос: как им удастся при под-

ведении итогов и составлении планов на будущее стирать из памяти вездесущий антинародный террор? К сожалению, этот вопрос приходится задавать не только большевикам прошлых лет, но и нынешним ленинистам, вместе с Беттельгеймом, ибо „мы вовсе не движемся, а скорее бродим вокруг да около, поворачивая то туда, то сюда, и то и дело возвращаемся” (Монтень).

Неслучайно ведь Солженицын и большинство русских диссидентов так резко против Китая! Они слышат в Культурной революции эхо „массовых манифестаций”, организовавшихся Сталиным, чтобы под прикрытием их сводить личные счета. Разве неправы они, выливая ушат холодной воды на наши восторги? Разумеется, правы, особенно если послушать официальные признания китайских коммунистов о фашистских „махинациях” Лин Бяо. Либо это правда, и тогда они правильно им не доверяют, либо ложь, — тогда тем более нельзя им верить безоговорочно.

Полностью ли они правы? Опять-таки нет. Сахаров, например, отказался от своих односторонних суждений касательно „китайской агрессивности”, подчеркнув, что живущие в СССР не располагают информацией и что у русских диссидентов „нет сил заниматься всем миром”. Что ж, тем хуже для тех, кто стремится найти нового папу римского или ЭВМ вселенского знания — короче говоря, набор окончательных ответов, который сделает их нарасхват в гостиных и бистро. И Мао, и Солженицын заслуживают большего: „В своих путешествиях, желая чему-нибудь научиться из общения с людьми (а это одна из лучших школ, какие существуют на свете), я всегда придерживаюсь правила наводить собеседника на разговор о том, что ему лучше всего известно”. (Монтень, *Опыты*, 1, 17).

Еще несколько напоминаний тем, кто, сидя в Париже, выезжает на мыслях Мао да намекает на необходимость „критики Солженицына слева”:

1. Теперь, когда сами китайские лидеры заявляют, что „красный Китай” еще долго будет подвергаться риску повернуть к мраку фашизма, разве не является безоговорочная

верность Китаю удивительной глупостью? Неужели вам непонятно, что фашизм, если нужно, не задумываясь выкрасится в красный цвет и не позаботится услужливо предложить вам свою визитную карточку?

2. Вы утверждаете, что использование „мыслей Мао Цзе-дуна против мыслей Мао Цзе-дуна” — любимое оружие врага, и это должно бы было вас излечить от идеологического терроризма: провозглашая свой абстрактный марксизм-ленинизм абсолютной истиной, кого вы требуете признать: друга? Врага? Или просто кретина?

3. Солженицын и диссиденты ставят себя и нас лицом к десяткам миллионов русских заключенных. Ни один марксист не может претендовать на то, что находится от них „слева”, потому что ни один никогда не смотрел им в лицо — в том числе и Мао, утверждавший, что „вопрос о Сталине” будет окончательно решен самим русским народом. Как вы полагаете, от кого придет это решение: от брежневских академиков или от борцов, которых сажают в лагеря и психбольницы?

4. Все время заявляя о своей поддержке русского сопротивления, китайские руководители не напечатали ни одной строчки диссидентов-интеллектуалов. Может быть, по вашему мнению, такая цензура понижает значимость свидетельств русских участников сопротивления — по-моему же, она снижает ценность китайской критики „советского ревизионизма”, уменьшая всемирное значение Культурной революции и связанной с нею свободы духа.

Может быть, требовалось не „ленинское” чудо, чтобы Ленин смог посмотреть на вышедшее из управления дело рук своих „трезвым взглядом”. Разве не говорит он: „Мы не можем...”? Разве не признает, что коммунисты не видят ни того, что происходит, ни того, к чему это приведет?

Государство функционирует не так, как мы думали. Как же оно функционирует? Машина не слушается: человек, сидящий за рулем, как будто управляет ею, но она не идет в нужном направлении, она идет туда, куда ее толкает какая-то иная сила...

Я веду машину, и вдруг руль перестает меня слушаться: в таких случаях говорят, что „машина взбесилась”. Вольно же комментатору (Беттельгейму) из этого заключать, что „Ленин ясно видит, к чему может привести” такая эволюция, ибо Ленин действительно ясно видит, ... что „мы” (включая его самого) **не видим!** Водитель взбесившейся машины может закричать: „Я погиб!”; это его не спасет и вовсе не доказывает его водительского гения: его пассажир может прийти к такому же точно выводу, не имея водительских прав; такую трезвость незачем относить за счет водительских курсов.

Возможно, здесь Ленин высказывает публично то, что тогда говорило себе множество русских: изголодавшиеся рабочие, бастовавшие и массами уходившие с заводов, крестьяне, восстававшие целыми губерниями, участники жестоко подавленных бунтов в Кронштадте и на Украине. Разве не у них Ленин заимствует свое плебейское неистовство в изобличении царящей кругом мерзости? Бессмысленно предполагать, что в великом Ленине зарождается таким образом маленький Мао; достаточно решить, что у него уши не окончательно заложены марксизмом, поэтому он слышит то, что говорят, стонут, вопят со всех сторон (за исключением кругов партийного руководства). Если и произошло чудо, то искать его надо здесь.

**Камень на камень,  
Кирпич на кирпич —  
Умер наш Ленин  
Владимир Ильич...**

Вернемся к нашей гипотезе. Итак, плебс говорит, думает, сопротивляется — и не только по праздникам, т. е. в дни революций. Это у него марксистские вожди заимствуют „трезвый взгляд” и революционный дух, которые одушевляют их собственные труды. Тогда странным, даже диким начинает казаться сам марксизм с его претензиями на руко-

водство плебсом извне, с высоты „научного знания”. Заметим еще кое-что: когда революционный вождь учитывает **находки** плебса (Коммуна, Советы), ему приходится резко рвать с этой наукой; когда же затем требуется переделывать плебс, то среди вновь воцарившегося безмолвия научные рассуждения звучат громче, чем когда бы то ни было.

Нельзя извинять марксизм „объективной”, заранее известной немотой пролетариата: научный марксизм отнюдь не невинен, ибо затыкает рот. С той минуты как вы в нем расположились, от вас ничто не ускользает, вам никто не смеет противоречить. Скажи какой-нибудь марксистский вождь: „Мы пропали, все потеряно!” — вы сразу комментируете: „Все потеряно, кроме марксизма, который как раз и позволяет понять, что все потеряно”. Марксизм — не только наука о руководстве людьми; это еще и наука о науке. В любом слове он слышит только себя; запрещая, он исправляет **самого себя**, погибая, оказывается возвеличенным. Абсолютная претензия облекается авторитетом абсолютного знания — это показали уже греки в знаменитом парадоксе о Критяnine, сказавшем: „Все критяне лгут”. Если Критянин говорит правду, значит он лжет. Если он лжет — значит, он говорит правду. Ленин, в сущности, утверждает: „Мы, марксисты, опростоволосились”. Является ли сказанное марксистским, т. е. опростоволосившимся? Разумеется, для того чтобы составить собственное мнение и выйти из порочного круга, достаточно спросить кого-нибудь другого, не Критянина, — но это означало бы, что слово Критянина не единственный критерий. А Критянину, для того чтобы выйти из собственного порочного круга, пришлось бы признать, что он, Критянин, не единственный авторитет, что его можно опровергнуть. Что вынесенное им (на основании всего, что ему известно о прошлом и будущем Крита) окончательное суждение является не правдой и не ложью, а просто чистым нонсенсом, из-за чрезмерной претензии. Критянин не должен быть абсолютным судьей самого себя — но разве не в этом как раз и состоят устремления научного марксизма? Разве не есть он суждение, выносимое обществом о самом себе?

О чем шептались люди в момент смерти Ленина? Всем известна „клятва”, произнесенная Сталиным на Красной площади. Это уже начало культа, в ней ощутимо чувствуется церковный стиль. Менее известны речи Троцкого, находившегося тогда в провинции, но они того же сорта: „Как нам двигаться вперед? С факелом ленинизма в руках”, — телеграфирует он в *Правду*. Те, кто оспаривает друг у друга честь (и власть) нести этот факел, занимаются взаимными обвинениями в „плохом ленинизме” и разжиганием старых распрей по вопросу о том, кто лучший наследник. Раньше чем появиться в качестве единого наследия, „ленинизм” появляется в качестве побочного продукта похорон. Последняя из опубликованных в *Правде* статей Ленина, написанная в неистово ругательном, плебейском тоне, вызвала множество водоворотов в гуще партии и множество писем в газету от запутавшихся читателей. Через двадцать дней, пользуясь молчанием больного Ленина, партийное руководство выступило на свою защиту, обвинив протестующих в том, что те — „не ленинисты”. После этого *Правда* решила, что теперь нужно себя провозглашать не марксистами (как велела привычка), а „ленинистами”. Был создан „Институт марксизма-ленинизма”, и Каменев, открывая месяц спустя съезд партии, заявил, что у него есть ответ на все вопросы:

Перед нами стоит задача реорганизации правительственного и партийного аппарата. Эти трудные вопросы могут вызвать в партии разногласия. Но мы знаем лекарство от всякого кризиса, от всякого ошибочного решения: это заветы Владимира Ильича, и партия будет всегда прибегать к этому средству в трудные минуты.

Ленин мертв, машина готова. Несмотря на внешние проявления, вожди хотят заставить поклоняться не столько человеку, сколько панацее, науке, авторитет которой делает ее смиренных адептов непогрешимыми. Кто ниже всех ей поклонится, поднимется выше всех. Отныне великий Критянин не может лгать; единственный человек, осмелившийся сказать „я лгу”, мертв; те, кто скажет „ты лжешь”, умрут тоже.

Если бы марксизм возводил в культ только авторитет науки, он просто разделял бы научные заблуждения начала века. Наука часто освобождается от наивных претензий, проходя через серьезные, но не смертельные кризисы: например, парадоксы типа „парадокса о критянинах”, совершенно перевернув математическую теорию множеств, тем самым обогатили ее. Однако марксизм порождает не только научные парадоксы, но и концлагеря. Как обеспечить авторитет партийного руководства в партии и среди рабочего класса? Вот этим и занимается целая наука, зачатая еще немецкой социал-демократией, которая высоко держала знамя марксизма, начиная со дня смерти Маркса и до дня избития немецких рабочих социалистическим правительством (1918) и своего окончательного крушения с приходом Гитлера. Знамя ленинизма было поднято прежде всего для того, чтобы раздавить оппозицию. Полагать, что марксизм просто болен избытком не критического уважения к науке (как это делает Мерло-Понти) — значит проявлять по отношению к нему чрезмерную мягкость. В престиже, даваемом **авторитетом знания**, марксистов интересует именно авторитет; всякого рода методологические научные рассуждения их мало трогают: главное — чтобы не задела авторитет. За фасадом авторитета знания, под его прикрытием, идет реальная работа; марксизм преобразил наш век: для него парадоксы науки перестали быть предметом академического интереса и превратились в практические вопросы, требующие окончательного разрешения. Посмотрев на марксизм „в деле”, понимаешь, что если это и наука, то наука об авторитете, о совокупности методов, идей и действий, необходимых для завоевания, сохранения и укрепления власти в 20-м веке.

Против кого направлена эта власть? С самого начала, еще с Каутского — против плебса, которым надо управлять **извне**. В качестве науки о революции марксизм претендует на обладание трезвым взглядом на общество. На вопрос о том, откуда такая трезвость по отношению к буржуазному обществу, марксисты отвечают: от самой буржуазии. При этом они опираются на одни высказывания Маркса и про-



пускают другие, противоположные. Особенно часто от них можно услышать ссылки на прочную традицию, а именно — на марксистскую. На вопрос о том, кто видит яснее: власть имущий или власти покоряющийся, — марксизм всегда отвечает: власть имущий. (Перед революцией трезвый взгляд достается нам в наследство от буржуазии; после революции знает только вождь). И он располагает средствами, достаточными, чтобы всех заставить согласиться с таким ответом. Верно видит только глаз вождя, об этом свидетельствуют выколотые глаза тех, кто видел **другое**: миллионами ссылались в 1945 г. люди, оказавшиеся за границами советского государства.

### **Наука века: как управлять плебсом извне?**

„Все мы марксисты”, — писал Сартр уже 20 лет назад. Для людей 20-го века „марксизм является неизбежной предпосылкой познания”, в наше время он есть „перегной для всякой индивидуальной мысли и горизонт для всякой культуры”.<sup>28</sup> С тех пор марксизм подтвердил свою силу проникновения и, похоже, теперь облекает изнутри даже противостоящую ему буржуазную традицию. Сталкиваясь с протестующими студентами и прочими белыми воронами, видные академики открывают скромные достоинства марксизма, позволяющего обуздать всех этих приставал заявлением: „вы” не рабочие, а ведь революцию делают только рабочие — вы же сидите смиренно и дожидаетесь. Менее видные наши деятели из предпринимательских и синдикалистских кругов объясняют бунтовщикам, что „положение производительных сил” требует сейчас их закабаления, но что в будущем их ждет освобождение **через посредство** научного прогресса. Столкнувшись с фашистским переворотом в Чили, все присяжные газетчики, от *Фигаро* до *Юманите*, вдруг оказались марксистами: если бы, мол, лефтистские эксцессы не напугали средний класс, армия не получила бы вкуса к насилию... Желая штурмовать вершины, марксизм иногда при-

поднимает юбку, и под его научным нарядом обнаруживаются удивительные вещи. Например, советское государство, по замечанию Солженицына, щеголяет в сапогах Петра Первого; оно продолжает — форсированным маршем, огнем и мечом — начатое при царизме дело озападнивания русского народа. В складках знамени маоцзедуновской теории, по словам китайцев, таится конфуцианство, стремление дисциплинировать плебс и полностью подчинить его мандарину. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы за обличением „мелкобуржуазного” сумасбродства освободительного движения бретонцев со стороны ФКП увидеть культ сильного Государства, перенятый якобинцами от монархии. Таким образом, вся культура оказывается „неизбежной предпосылкой” марксизма: культура столетней — или тысячелетней — элиты, монополизировавшей слово, и государства, монополизировавшего насилие.

Мимоходом несколько слов главарям „**воинствующих марксистов**”, этим вечным Рифландуйлю и Тренбудену: любому ясно, что замечание Сартра ужасающе верно и сегодня. Кого они собираются мобилизовывать на проведение очередной идеологической кампании славного короля Пикрохоля, когда единственное, чем занимаются марксисты с анти-марксистами, лже- с тайно-, антилже- с лжеанти-, это с равным ожесточением отмежевываются друг от друга, приводя одни и те же аргументы?

Не может быть и речи о том, чтобы вдаваться в подробности этих цеховых распрей: вспомним, как во время очередного собрания московского Союза писателей на вопрос чиновника: „К какому лагерю вы себя причисляете, к западному или советскому?” — одинокий голос ответил: „К колымскому”, и на стол президиума лег писательский билет.

Пусть же „марксист” со своим куманьком „антимарксистом” сами улаживают свои теоретические ссоры; они повышают голос только в моменты безмолвия плебса (и умалчивают о методах достижения этого безмолвия). Не обращая внимания на этих сомнамбул, мы без зазрения совести воспользуемся конкретными знаниями, составляющими науч-

ную суть трудов Маркса и Ленина, но оставим за собой право на насмешку над Универсальной Наукой о Руководстве Людьюми. Кто это „мы”, – спросят птенцы и патриархи марксизма, истинного, лже- и анти-: – класс? Школа? Подымай выше: „мы” – это все те, кто не отчаивается, слыша раскаты гомерического хохота, заглушающего благонравные дебаты под сенью виселиц.

Бахтин, втихомолку размышлявший о Рабле в годы царствования Корифея наук, заключает свое исследование следующими весьма актуальными замечаниями:

Все акты мировой исторической драмы всегда разворачивались под смех народного хора. Не слыша его, невозможно понять эту драму во всей ее целостности. Попробуем представить себе пушкинского *Бориса Годунова* без народных сцен...

Во все эпохи прошлого существовало публичное место, заполненное смеющейся толпой – толпой, привидевшейся Самозванцу в кошмарном сне:

Внизу народ на площади кипел  
И на меня указывал со смехом,  
И стыдно мне и страшно становилось...

Повторяем, каждый из актов мировой истории сопровождался смехом хора. Однако не во все времена этот хор получал корифея масштабов Рабле, который, несмотря на то, что был корифеем народного хора только в эпоху Возрождения, с такой ясностью и полнотой раскрыл сложность и оригинальность народного языка, что его творчество проливает свет на народную комическую культуру и других эпох.

Сартр пишет, что марксизм „остановился”:

Мы обнаруживаем слабину внутри самого движения марксистской мысли, ибо марксизм вопреки самому себе стремится устранить любопытствующих от анализа и сделать ставящееся под вопрос объектом абсолютного знания.

Слабина указана правильно, но ныне, в эпоху *Архипелага ГУЛаг*, мы можем и должны пойти дальше. Действительно ли вопреки себе марксизм стал доктриной режима, вот уже

пятьдесят лет систематически „устраняющего задающих вопросы?” Ведь вот заговорили они — и марксизм даже не то что остановился, а просто разлетелся на куски. Попробуем вообразить уютный „интерьер” марксистской мысли, если в нем одновременно поселяются Мао и Брежнев! Разумеется, они принимаются спорить за „ленинское наследие”; от этого взывают сердца у университетских нотариусов и мировых судей, которые тут же начинают предлагать себя в посредники для изыскания компромисса. Если китайские коммунисты не ставят прямо под сомнение наследия марксизма-ленинизма, то разве не дают они понять, что нужно сломать этот „интерьер” и вывести плебс из безмолвия? Что при этом необходимо выступить против государственного аппарата и его культурных предпосылок, которые века господства, казалось, делают „непреодолимыми”? И если Брежнев и его приверженцы уже не кажутся правящей элите Запада такими варварами как прежде, то не потому ли, что она обнаружила в марксизме „последнее прибежище” от угрозы со стороны плебса?

Те из задающих вопросы, кто избежал уничтожения, начинают говорить, но все реже и реже говорят „изнутри” марксизма. Не значит ли это, что от марксизма остался лишь предмет бесконечных академических дискуссий, пытающихся выявить его „теоретическое” единство, не доказываемое реальной историей? Но это означало бы слишком быструю уплату по счету. Те из спрашивающих, кто пережил лагерь, почти не говорят марксистским языком, но много говорят о марксизме. Может быть, он должен был разлететься на куски, чтобы люди смогли, наконец, проникнуть в его внутреннюю суть, может быть, он должен был завоевать „изнутри” западную правящую элиту, чтобы стала очевидной его антиплебейская направленность. Семьдесят пять лет не уничтожить рошчерком пера. Семьдесят пять лет тесного переплетения истории — нашей истории — и марксизма (который нас окутывает и оглушает). Марксизм вошел в наш век, сосредоточившись на решении вопроса о „народных массах” и „завоевании ими власти”. Этим он заинтересовал революционеров, но еще

больше — государства, которые тем самым спасал или реставрировал. Народные бунты к нему не имеют никакого отношения; более того, он доказал, что и сам не имеет к ним никакого отношения. Все больше от них отдаляясь, даже обращаясь против них, разве не утверждает он себя в качестве политической науки века, науки власть имущих, которые подавляют плебс извне всеми средствами, предоставленными в его распоряжение марксизмом?

Вот это-то и следует разобрать, и не в теории, а на деле: разобрав марксистский шедевр, каким является создание и укрепление Советского Союза и Архипелага ГУЛаг. В этом „и” весь секрет. Архипелаг раскинулся в самом центре „построения социализма” в СССР. Этот архипелаг нужен СССР. Связать их между собой — и есть настоящий марксизм, тут-то его и можно ухватить. Вопросать Россию — значит вопрошать самих себя, вопрошать Россию внутри нас.

Остается неохота смешивать марксизм с концентрационной мясорубкой: неужели, мол, называя людоеда 20-го века людоедом, обязательно совать нос в его грязное белье? Костюм — это всего лишь костюм, главное — кто его носит, оставим же марксизм в гардеробной и займемся просто осуждением лагерей!

Увы, охранники сами щеголяют формой, неважно какой: у СС она черная, у агентов ГПУ — голубой кантик на воротнике. Впрочем, если нам так легко осуждать лагеря вообще, давайте спросим себя, почему, когда речь заходит о русских лагерях, мы так часто ограничиваемся безмолвными размышлениями. Нацистские преступления увенчались Нюрнбергским процессом. Вы скажете: они проиграли войну, таково право победителей. Прекрасно, но ведь борцы-антифашисты поняли, что имеют дело с преступлениями против человечности, не дожидаясь победы. Трибунал Бертрана Расселла осудил преступления империалистов во Вьетнаме, в Южной Америке, и тем помог по крайней мере довести эти ужасы до всеобщего сведения. Но русские лагеря? Никакого трибунала Расселла, крик ужаса застревает в горле. И вы скажете, что марксизм тут ни при чем?

Если он превращает всех в глухонемых здесь, какова же его роль там?

Что нам мешает увидеть и сказать, что в смысле ужасов между нацистскими и советскими лагерями нет никакой разницы? Тот, кто возьмется за тягостное сравнение, пусть делает это, имея перед глазами устрашающую картину колымских золотых рудников, нарисованную Шаламовым:

В лагере для того, чтобы здоровый молодой человек, начав свою карьеру в лагерном забое на чистом воздухе, превратился в „доходягу”, нужен срок по меньшей мере от двадцати до тридцати дней при шестнадцатичасовом рабочем дне, без выходных, при систематическом голоде, рваной одежде и ночевке на шестидесятиградусном морозе в дырявой брезентовой палатке; побои десятников, старост из блатарей, конвоя несколько ускоряют этот процесс. Эти сроки многократно проверены. Бригада, начинающая золотой сезон и носящая имена своих бригадиров, не сохраняет к концу сезона ни одного человека из тех, кто этот сезон начал, кроме самого бригадира, дневального бригады и кого-либо еще из личных друзей бригадира. Остальной состав бригады меняется за лето несколько раз. Золотой забой непрерывно выбрасывает отходы производства в больницы, в так называемые оздоровительные команды, в инвалидные городки и на братские кладбища.<sup>29</sup>

На открытом воздухе черную смерть заменяет белая:

Тучи комаров облепляли лицо – без сетки нельзя было сделать шага. А на работе сетка душила, мешала дышать. Поднять же ее нельзя было из-за комаров.

Работали тогда по шестнадцать часов, и нормы были рассчитаны на шестнадцать часов. Если считать, что подъем, завтрак и развод на работу и ходьба на ее место занимают полтора часа минимум, обед – час, и ужин, вместе со сбором ко сну, полтора часа, то на сон, после убийственно тяжелой физической работы на воздухе, оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся засыпать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше сил, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком – четыреста граммов хлеба и лишение баланды в день.<sup>30</sup>

Сравнивать это с заводами-душегубками, с каменоломнями Маутхаузена, с подземными заводами Дора — значит сравнивать один ужас с другим. За какие оттенки хватиться?

Газовые камеры Аушвица? Тут прямое уничтожение; в других немецких лагерях, как и в русских — смерть от принудительного труда (принуждение — ударами, виселицами, расстрелами, селекцией). Рекорд остается за нацистами: в колымских рудниках средняя продолжительность жизни составляет пять недель, а в Аушвице-Биркенау она равна скорости схождения с поезда... Как показывают историки, газовые камеры вполне логичны в рамках общей системы: эта чудовищность просто решает проблему времени и места; Гиммлер, спеша очистить Европу от евреев, не знает уже, куда их девать. Русские вожди с этими трудностями не сталкиваются, в их распоряжении Сибирь и арктические просторы, им некуда спешить — вот уже полвека (еще рекорд).

Лагерь похожи друг на друга, но руководящие идеи немецких и русских инициаторов как будто различны, т. е. противоположны. Так что ж, ограничиться поэтому обвинением человеческой жестокости — одинаковой повсюду — и не принимать в расчет идеологии палачей? Но ведь коллективные преступления 20-го века не достигли бы знакомых нам грандиозных масштабов, если бы не были вооружены так называемой „идеологией”. В немецких лагерях главное — что они нацистские. А русские лагеря что, с неба свалились? Они разве ничего не говорят о марксизме, на который опираются?

В системе концлагерей гитлеризм нашел свое предельно точное выражение. При помощи расизма, далеко превосходящего обычный антисемитизм правых группировок, Гитлер быстро делает евреев козлами отпущения со специальной функцией: на них должен сфокусироваться направленный против капитализма гнев немецких народных масс, над которыми фюрер готовится захватить власть. В своем антимарксизме Гитлер относится к марксизму серьезно; в отличие от „маньяков популизма”, он собирается завоевать

пролетариат: „С созданием немецкой рабочей национал-социалистической партии впервые появилось движение, не ставящее своей целью, подобно буржуазным партиям, механическую реставрацию прошлого”. Итак, нацист плюет на „мелких буржуа” и на „реакционеров”, он хочет властвовать именем науки: человек, говорится в *Майн Кампф*, „не господствует над природой, но, на основании знания определенных тайн и законов природы, оказывается хозяином тех живых существ, у которых такое знание отсутствует”. Иначе говоря, наука открывает всю планету для эксплуатации человека человеком во имя великих образцов, питающих национальную гордость. Интересно, что в первых рядах этих образцов стоит не воин, не политик, не писатель, а **изобретатель**, герой промышленного предпринимательства:

Творческих способностей великое множество. Способность к техническому творчеству – лишь одна из этого множества. Но именно ей Гитлер отводит самое видное место. Когда он пишет в *Майн Кампф* о плеяде национальных героев, первым ему на ум приходит именно великий изобретатель – спаренный, как известно, с великим предпринимателем, изобретающим организацию труда для проведения изобретений в жизнь.<sup>31</sup>

Когда внезапно наступает великий кризис, предприниматели обращаются за помощью к Гитлеру,

видя в нем, с одной стороны, самого серьезного из антимарксистов, ибо он сознавал всю серьезность марксизма, с другой – пылкого сторонника немецкой индустрии, восхищающегося возможностями, которые дает ее специфическая структура (крупные промышленные комплексы).<sup>32</sup>

СС, охранительница идейной чистоты нацистов, становится (предварительно вычистив из партии „безумцев”-революционеров СА) также и охранительницей лагерей. На огромном заводе, которым должна стать Европа, система концлагерей вплотную сталкивает повелителей – отборнейшие экземпляры СС – и „отбросы” человечества, низших существ, осужденных на рабский труд и на смерть. Нацистская империя не



функционирует вся целиком по принципу лагеря; СС в принципе не занимается повседневными вопросами, она охраняет тысячелетний Рейх от „окружения” азиатскими народами и подавляет мятежи в Европе, т. е. в самой Германии (это предусмотрено). Лагеря, это, по-видимому, побочное явление, показывают без прикрас истинное лицо нацистских завоевателей. Они разоблачают пути, которыми расширяется и укрепляется власть Рейха. Архипелаг СС — это авангард научной, индустриализированной Европы. Его задача: реализовать идею фабричного деспотизма и колониального империализма, доведя ее до крайних, но не анархических пределов.

Перспектива войны против азиатских народов — перспектива далекая. Гитлер готов ее предусматривать не ближе, чем в будущем веке. Пока же задачей СС после победы должно быть поддержание, эксплуатация и расширение „гласиса”, который будет движущимся пространством немецкой экспансии...

Речь идет не о военной, а о полицейско-экономической акции. СС должна будет подавлять не армии, а гражданское население, одновременно эксплуатируя его экономически. Именно из этой будущей миссии исходит программа обучения СС, труды его расовых и исторических институтов. Именно эта миссия и дает СС целостность, которую, как подозревает Гиммлер, плохо понимают его соратники. В качестве базы для этой целостности Гиммлер создает экономику СС, основанную на сконцентрированной в лагерях рабочей силе.<sup>33</sup>

Ныне мы знаем, что в нацистском лагере постигаются тайные пружины власти нацистов. Эти полицейско-экономические неистовства национал-социалистической псевдо-революции обнажают перед нами крупнокапиталистические и контрреволюционные корни нацизма. Так неужели мы откажемся от этой лагерной истины, если она может объяснить полувековое царствование в России?

Надеть наручники, пропустить ток через тело, раздавить каблуком половые органы, сконцентрировать подозрительных, покрыть сначала всю страну, затем весь континент колючей проволокой — „государственный аппарат насилия”

разрабатывает свою систему с невозмутимой простотой. Он редко сам верит в тайны, которыми окружается для психологического воздействия; до тонких различий, навязываемых теоретиками, ему и дела нет. Западногерманские нацисты без зазрения совести одалживают у своих пражских и московских коллег по пыткам — и кидаются добавлять к классической коллекции игрушек „сенсорные лишения”, „социальную изоляцию”, специальные процедуры и другие находки, выработанные в подвалах ГУЛага, который беспрестанно модернизируется.<sup>34</sup>

Обмен новейшими методами, или во всяком случае обмен опытом: в парижских газетах как-то проскользнуло упоминание о фразе, оброненной в 1975 г. французским генералом на провинциальном посту. Генерал этот прославился в свое время тем, что сначала ввел в систему, затем покрывал, а затем оправдывал применение пыток в Алжире. Когда генерала Массю спросили о манифестации протестующих солдат, тот отозвался о ней крайне нелестно, а потом рассказал, как в мае 1968 г. один советский маршал в частном разговоре спросил его, почему он сразу не урегулировал вопрос студенческих бунтов и уличных баррикад („Не понимаю, чего вы ждете, почему их не раздавите?“).

Неизвестно, что ответил генерал пыток маршалу лагерей: скорее всего, промолчал. Он еще не знал, что страны, имевшие случай вкусить от революций, идущих снизу, очень не любят, когда их „революционизируют” сверху, все равно — бисмарковскими винтовками или сталинскими танками. Русская Германия заливает кровью Прагу, американская Германия пытается; они подают прекрасный пример друг другу, карая своих протестующих: Европа, подобно рыбе, тухнет с головы — с Государства.

В 1943 г. одну немецкую секретаршу отправили в лагерь за то, что она следующим образом воспела мировое величие Гитлера:

Правит он по-русски,  
Стрижется по-французски,

По-английски ус торчит,  
„Хаиль—’ по римскому кричит...

Не будем же открещиваться от страшного подозрения: западная Европа потому без особого возмущения отнеслась к возникновению лагерей, что сама их изобрела. Война 1914 — 18 гг. сопровождалась экономическим обоснованием рентабельности тюремного заключения и принудительного труда. Вначале интернировали „перемещенных лиц”, запихивая их в трущобные районы, которые префекты уже тогда окрестили „концентрационными лагерями”: полицейский надзор, обязательная работа, недоверие и расизм со стороны окружающего населения — вот что было уделом, к примеру, беженцев из Эльзас-Лотарингии в области Сент-Этьен (Луара). Затем тому же режиму подчинили рабочую силу, ввозившуюся в страну в связи с военной экономической необходимостью (во Франции — жителей колониальных стран Азии и Африки, в Германии — бельгийцев, голландцев, поляков). На эту военную экономику потом поочередно будут ссылаться Ленин, Сталин, фашисты и т. д. Мобилизация более или менее рабской рабочей силы перестает вызывать удивление и становится обычаем. У истоков судьбы Стивена Бико и ссыльного стоят общие цифры: понять Россию для нас — значит понять самих себя.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Солженицын: *Архипелаг ГУЛag*. Париж, 1973. Т. 1, стр. 171.
2. *Там же*.
3. *Там же*. Т. 1, стр. 425-426.
4. Варлам Шаламов: *Колымские рассказы*. Лондон, 1978, стр. 781.
5. *Там же*, стр. 463.
6. А. Солженицын: *В кругe первом*. Нью-Йорк, 1968. Стр. 356.
7. Варлам Шаламов: *там же*, стр. 62.
8. А. Солженицын: *Архипелаг ГУЛag*. Т. 1, стр. 419.
9. А. Солженицын: *В кругe первом*. Стр. 345.
10. *Там же*.
11. *Там же*.
12. *Там же*.
13. *Тан модерн*, 1950, январь.
14. *Там же*.
15. А. Солженицын: *Архипелаг ГУЛag*. Т. 1, стр. 181.
16. *Тан модерн*, 1950, январь.
17. Лукач: *Солженицын*, изд. Галлимар, стр. 22-23.
18. *Там же*, стр. 131-132.
19. Плебеи: все, кто „не у пирога“. „Без-властники“, как раньше говорили „бес-штанники“ (санкюлоты). Те, кто не соприкасается с властью рубля и кнута, с властью организовывать и манипулировать: т. е. большая часть населения страны. Это говорил уже Макиавелли.
20. А. Солженицын: *В кругe первом*, стр. 495.
21. Маркс: *Манифест*.
22. И то не полностью. С какими оговорками подписывается он под лозунгом „Вся власть Советам!“ Это всегда „тактический ход“, всегда какая-нибудь махинация (как в июле 17-го года, когда Ленин временно от него отказывается, как и позднее... См. книгу Анвайлера *Советы в России*). Точно также его критика государства в *Государстве и революции* гораздо слабее антигосударственности Маркса периода Коммуны (см. книгу Лайнинга *Анархизм и марксизм*).
23. А. Грамши: *Политические записки*, 1, стр. 121.
24. Шарль Беттельгейм: *Классовая борьба в СССР*. Париж, 1974, стр. 464-465.

25. Там же, стр. 449.
26. Р. Люксембург: *Русская революция*. В: *Собр. соч.*, т. 1. Париж, изд. Масперо.
27. И. Штейнберг: *Власть и террор в революции*. Берлин, изд. Крамер.
28. Ж.-П. Сартр: „Вопросы метода”. В: *Критика диалектического разума*. Париж, NRF.
29. Варлам Шаламов: там же, стр. 127.
30. Там же, стр. 129.
31. Ж. Биллиг: *Гитлеризм и концентрационная система*. PUF.
32. Там же.
33. Там же.
34. Недавно на западногерманских заключенных испытывался последний крик научно-технической революции в области „карцерологии”: „Двоих из них подвергли в течение, соответственно, шести и девяти месяцев самой строгой изоляции, практиковавшейся когда-либо в ФРГ. Их не только изолировали социально, но и сделали их камеры полностью звуко-непроницаемыми...” Эти психиатрические методы ставят своей целью улучшение традиционной системы „каменного мешка”, „клетки тигра” и „изолятора”. Они, по-видимому, черпают вдохновение непосредственно из исследований по вопросу о „надлежащих пытках”, проводившихся профессором гамбургского университета Гроссом в Праге в 1966 г. (работа называется бесстрастно: *К вопросу об агрессивности*). Именно в Праге Гросс и его коллега Шваб открыто собирались продолжать изучать вопрос получения признаний: пытатели всех стран, соединяйтесь!

## **2. ВЕЛИЧАЙШАЯ ЛОЖЬ НАШЕГО ВЕКА: СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК**

„... – Скажите, пожалуйста, – робко спросила Алиса, – зачем вы красите эти розы?

Пятерка с Семеркой молча взглянули на Двойку, а тот оглянулся и тихо сказал:

– Понимаете, барышня, нужно было посадить красные розы, а мы, дураки, посадили белые. Если Королева узнает, плакали наши головы...”

*Льюис Кэрролл, Алиса в стране чудес*



## Глава 1

### Дипломированные „социалистические” морозилки

„Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, – сказал Шалтай-Болтай высокомерно... Вопрос в том, кто из нас здесь Хозяин, вот в чем вопрос!”

Льюис Кэрролл, *Сквозь зеркало и что там увидела Алиса*

– Товарищ, не стоит смотреть на факты и события Истории с морализаторской, субъективистской точки зрения. Нельзя за деревьями не видеть леса, нельзя вместе с окровавленной водой выплескивать ребенка... десятки миллионов трупов, да, конечно, но...

– А кстати, сколько?

– Неизвестно, Политбюро не считало, однако в сравнении с грандиозными достижениями социализма...

– Солженицын говорит, 60 миллионов, больше всего населения Франции, включая женщин, детей, девяностолетних стариков и новорожденных.

– Он преувеличивает...

– Так сколько же?

– Солженицын забывает спросить: а сколько яслей, сколько современных заводов, сколько Дворцов культуры, сколько русских грамотных, накормленных, получивших жилье, получивших образование, освобожденных, наконец...

– Сколько все-таки трупов?

– Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, посмотри на живую страну социализма...

– Где живые в форме продолжают хоронить живых мертвецов в лохмотьях?



— Россия начинала в особо трудных обстоятельствах, не придирайся к деталям, смотри на достижения в целом.

— Так что ж, выдать „социализму” вексель на предъявителя, а десятки миллионов человеческих „деталей” списать как накладные расходы?

— У нас во всяком случае это будет не так!

— Но ты признаешь, что и там, и здесь „это” называется „социализмом”?

— Да, если смотреть на вещи научно, а не с твоими „дамскими” нервами.

Моральное негодование? А если вдруг окажется, что народное чувство и широко распространенное понимание в этом пункте друг другу не противоречат? С вами охотно согласятся, что концентрационный лагерь подразумевает некоторые черты фашизма — но не **фашизм вообще**. Фашизм в стенах лагеря — да. Фашистский характер общества, уже полвека сохраняющего у себя лагеря — нет. Однако все согласны, что уничтожение безработицы, автострады и У2 не могли бы компенсировать концлагеря, определившие лик нацистской Германии. В России же, напротив, развитие тяжелой промышленности, работа (при случае принудительная) для всех, спутник считаются более характерными чертами, чем Колыма, чем депортация целых народов — или нынешнее вторжение в „братские страны”, химическая смирительная рубашка для протестующих: все по-прежнему продолжают говорить о „социалистической” России.

Со стороны правых это легко объяснимо: где взять лучшее противоядие, чем социализм за колючей проволокой?

Со стороны левых, равным образом звучит: не разделяйте тех, кто исповедует (вашу) веру, притворяясь, что „представляет” пролетариат, не задавайте провокационных вопросов...

Остается стойкое народное чувство: если **это** социализм... Ухищрения бесполезны: хотелось бы верить, что социализм — это нечто иное, но перед глазами-то у нас **это**; если Бухенвальд и Аушвиц, в России десятикратно разросшиеся, рас-

цветают на социалистической почве, то что хорошего в вашем „социализме”? Кому охота умирать за Колыму?

Впрочем, европейский социализм, находящийся в мнимой „социалистической” тени России, уже не просит вас за него умирать. Будь ты анти- или просоветским — ему нужны только наши голоса. И учит он нас лишь отчаянию. Пусть наши власти не волнуются: как только „рабочие” организации Запада соглашаются считать СССР социалистической страной — неважно, осуждают они ее при этом, клянутся ей в верности или оказывают „поддержку не без критики” — это родство „Россия-социализм” срабатывает как холодный душ. Мы называли социализмом то будущее, к которому стремился — по крайней мере начиная с Французской революции — всякое крупное народное движение: эгалитарное общество, где исчезает эксплуатация человека человеком, где уничтожаются классовые различия и рушатся иерархические перегородки, где отмирает Государство. А сегодня нам объясняют, что СССР имеет какое-то отношение — кроме резни и маскировки — к этой цели: это-то и отдает нынешнюю молодежь в добычу буржуазному обществу. Кто может думать, что Государство ближе к смерти в Москве, чем в Париже? Если СССР страна социалистическая, — пусть лишь на половину или даже на четверть — то социализм был всего лишь прекрасной мечтой, и западные менеджеры могут приступить к программированию эпохи горячих сосисок и холодного отчаяния.

Вот хороший способ „привести Бийанкур в отчаяние”: вменить ему в вину грехи русского государства, изобразив это последнее как „социалистическое”, „рабочее”, „революционное”, „пролетарское”.

Когда некто утверждает: „Я архангел Гавриил”, мы обычно не верим ему на слово. Когда генерал Пиночет изображает себя апостолом либерализма, мы без труда находим иные его корни. Откуда же наше продолжающееся легкоеверие в отношении русского государства? Неужели достаточно было Сталину в промежутке между двумя рез-

нями заявить, что социализм построен? Визитная карточка месье Брежнева весьма пространна: внук Маркса и Энгельса, сын Октября, старший брат в социалистической семье... Но ведь когда маленький чернявый Гитлер утверждал, что ведет свое происхождение от рослых белокурых арийцев, ему верили далеко не все. Когда американским генералам взбредает в голову выставить себя героями вестерна, даже комментаторам становится смешно — так почему же они не улыбаются, когда нынешние кремлевские хозяева делают вид, что воплощают легендарный Октябрь?

Неизвестный считает себя Наполеоном, американский президент нацепляет ковбойскую шляпу, русский диктатор размахивает красным знаменем; первого отправляют в сумасшедший дом, второго отдают на съедение юмористам, но все благонамеренные телестанции оспаривают друг у друга честь потолковать — критически или нет, неважно — о „социализме” третьего. Если Наполеоном считает себя Наполеон, это уже проблема. Когда Бонапартом полагает себя „сумасшедший”, дело усложняется. Но, неправда ли, самый серьезный случай — это психиатр, который всерьез верит, что сумасшедший пациент действительно считает себя Наполеоном, и пытается убедить его во вреде бонапартизма? Сказки и легенды „социализма”: рассказ правдоподобен, только если слушатели легковерны.

Стоит Сталину и его последователям заявить: „Социализм — это мы”, как знакомые нам „правые” и „левые” сразу же в унисон восклицают: „Социализм это они”. И пусть один клянется „им” в верности, другой клеймит „их” позором, а между ними переливается бесчисленными оттенками целая палитра промежуточных позиций — все равно повсюду одно и то же опьянение: хорошо это или плохо, но Кремль воплощает социализм. Известно, что „правые” склонны считать правительственные декреты, каковы бы они ни были, Священным Писанием: отныне они в этом не одиноки. Что еще более странно, антисоветские критики русского социализма оказываются в одном строю со своими просоветскими братьями, ибо делают противоположные выводы из одних и

тех же марксистских предпосылок: поскольку русская Конституция отменяет частную собственность на средства производства..., поскольку русское общество является социалистическим...! Марксисты все: официальные идеологи правых и левых партий курят одну и ту же трубку. Хоть модели искусственного рая у вас и разные, незачем так заноситься друг перед дружкой: этим опиумом теоретиков вы владеете совместно.

Чтобы отождествлять будущее народов и советское государство, нужно обладать очень холодным сердцем. Поэтому дело здесь не в сердце, а в „голове”. Прощайте, чувствительные души, для которых организованное убийство количества людей, равного всему населению Франции, важнее теоретических соображений! Будем сохранять хладнокровие: если социалистическая действительность расходится с мечтами, будем смотреть в лицо действительности. Между людьми мыслящими не принято затрагивать чувствительных струн: социализм есть отмена частной собственности, Россия есть то, что есть, определения совпадают, из них можно делать разные выводы — но факт остается фактом, социализм пришел к нам с холода под марксистским флагом.

Факт этот чисто теоретический: именно разум велит нам называть этот бесчувственный социализм социализмом. Если бы не разум, то у нас из сердца, из живота, пожалуй, вырвалось бы имя „фашизм” — пусть даже пришлось бы зажимать нос, входя в детали и уточняя, о какой именно разновидности идет речь. Абстрактный гуманизм? Преувеличенная сентиментальность? Посмотрим. Предположим, он неправ, этот „правый” и „левый” разум, рассуждающий о русском социализме; разум, принимающий за чистую монету определение, которое кремлевские хозяева дают устроенному ими обществу; разум, видящий истинную суть России в нескольких настриженных из Маркса цитатах да в советских юридических текстах, оставляя принудительный труд, полицейский надзор и организованную ложь в приложениях. „Базис” социалистический — значит ни палка, ни колючая проволока, ни насилие над душами не меняют социалистического харак-

ера инфраструктуры. Главное, слышим мы со всех сторон, это „организация производства”. Понимайте так: организация производства в **официальных учебниках**; неважно, что в действительности эта организация достигается отчасти за счет полицейской дубинки, отчасти за счет рабства, отчасти за счет массового отупления (по официальным данным, заявляет *Литературная Газета*, производство водки в России с 1940 г. выросло в 4 раза; прекрасный вклад в теоретическую науку: „К вопросу о взаимоотношении пьянства и производства продукции”).

Сомнительная идея. Но тем не менее прочная: независимо от того, способствует она прославлению или осуждению социализма вообще, сам факт существования русского социализма не вызывает сомнений у теоретиков всех цветов радуги. Пятьдесят лет развития политической мысли воздвигнуты на этом краеугольном камне: на русском социализме, на его хорошем или дурном примере. А камень-то рыхлый, рассыпающийся, просто кучка ссохшейся грязи: если смотреть сквозь призму Архипелага ГУЛаг, что в России социалистического, кроме лозунгов на лагерных воротах да официального языка начальства? Так что ж, неужто наши мыслители ошибаются? А почему бы и нет? Может быть, именно такой ценой расплачивается политическая теория за то, что сочла чувства, страдания, сопротивление европейского плебса второстепенными? И ведь повелось это с очень давних пор. Уже более двух тысяч лет назад Платон закрепил в умах идею политической науки, основанной на разуме, организуемой сведущими людьми, осчастливливающей обывателей, не спрашивая их согласия. Определение политических и социальных формаций элита должна искать в небе идей, а не в жизненном опыте или путаных, некомпетентных взглядах плебса. В этом звездном сиянии, доступном лишь наставнику-духу, но не умертвляемой плоти, почему бы СССР и не быть социалистической страной? „Но этих людей — неважно, управляют они с согласия или против воли своих подданных, создают или нет писанные законы, богаты они или бедны — нужно, как мы теперь полагаем,

считать правителями, если только они правят умело, независимо от формы их власти”<sup>1</sup>.

Общество прослушивается либо по своим верхам, либо по низам. Наверху – государство и правящая элита, которые заявляют: „Мы социалисты”. Внизу слышишь истории о дровах, воруемых, чтобы согреться, о лагерях, об отчаявшихся пьяницах, о всемогущих шпиках, о зажиточном начальстве, окрещенном „новыми барами”.

Разум, называющий Россию социалистической, есть голос Государства. Для Государства нет железного занавеса, оно вещает по обе его стороны. Политическая наука, анти- и просоветская, знает голос хозяина, теория и практика совпадают. Как управляешь своим обществом, так и теоретизируешь о других: это знание проходит сверху донизу, как заповедь.

После чтения *Архипелага ГУЛаг* давайте отнесем все теории, исходящие из идеи более или менее социалистической России, за счет теоретического кретинизма, свойственного нашему времени. Каким образом осязаемая реальность фашизма становится интеллектуальной медитацией социализма? Как можно всерьез слушать кремлевских философов, имея перед глазами лагеря? Как можно говорить одновременно о принудительном труде и о коллективной собственности на средства производства? Как может рабство привести к бесклассовому обществу? Ответ прост: при помощи чуточки теории!

Мы считаем себя большими умниками, так как избавились от парламентского кретинизма, от политической близорукости элит 19-го века, от этого „зла, которое поселяет в своих несчастных жертвах торжественную веру в то, что судьбы мира, вся его прошлая и будущая история определяются большинством в том особом представительном учреждении, которое имеет честь считать их своими членами...” (Энгельс). Подставьте вместо парламента библиотеку; вместо правления большинства – авторитет знания; вместо выборного представителя – теоретика. Предполагается, что

отныне наш век должен покорно ожидать разрешения наших академических споров; такой же точно кретинизм, который „уносит пораженных им в воображаемый мир и отнимает у них всякое знание, всякое воспоминание и всякое понимание грубого внешнего мира”. Маркс насмеялся над парламентариями, осаждающими трибуны, — но когда теоретики вырвали себе право забальзамировать его труп, мир не смеялся. Закрывайте окна и двери: вот он, социализм в одной, отдельно взятой стране! Перманентная революция! Здесь все решается, эти химеры мобилизуют интеллигенцию, она теряет память о старой каторге и всякую способность понять вновь приговоренных; а в это время снаружи, за дверьми, подавляются в крови крестьянские восстания, умирают с голоду рабочие, разрастаются лагеря.

Если бы Сталин не говорил, что правит социалистическим государством, он бы тем самым не подтвердил законности сталинизма, его соперникам не так легко было бы найти повод опустить руки, и множеству правых профессоров не пришлось бы начинать карьеру с осмотрительных возражений против его социализма. Восхитимся же не мнимым могуществом теории, но безграничностью ресурсов власти, которая при помощи **все равно какой** теории превращает нас в трусов или дураков.

Кретинизм непрерывной линией тянется через века: полагать, что государством правит половина народных представителей плюс один или правильность теорий, теряться при виде обратного — разве не значит заранее верить в Государство, буквально понимать его демократические или философские заявления? Эти новые Архимеды — вчерашний парламентарий и сегодняшний философ — уверены, что могут в одиночку приподнять земной шар. Они нашли точку опоры: Государство. На деле же они сами в конце концов становятся точкой опоры для этого „холоднейшего из холодных монстров” (Ницше). Мир можно поднять не государственным декретом, а против Государства; в нашей истории такое пробовал, и иногда успешно, только плебс, тот самый плебс, который и парламентарий, и теоретик усиленно пы-

таются не допустить в свой замкнутый круг (и в этом общий корень их общих несчастий) .

Кто только не задается целью отполировать идеи, которыми руководствуется всемогущее государство? Давайте выработаем для нового идола связную программу действий! „Смещение языков, смещение добра и зла” – вот по-прежнему, через столетие после Ницше, „отличительный признак” современного европейского государства. Теоретик, усиленно пытающийся сделать Государство разумным, в конечном счете сам попадает в ловушку государственных интересов: это „Илиада” и „Одиссея” всякой политической аристократии, марксистской и немарксистской. Если смещение языков говорит о функционировании правительственной машины, то хотеть ее прочистить – значит ее питать. Я тебя исправлю, следовательно, ты меня уже обольстила. В этой дряхлой идиллии, с давних пор связывающей европейскую мысль с ее идолом, философа с деспотом, марксизм лишь чуть-чуть подновил роли.

Что делает Бухарин, оставшийся в изоляции, знающий, что попал в немилость, и, возможно, предчувствующий свой процесс? Составляет Конституцию, которая будет утверждена в Москве в 1936 г.! Вокруг него работают центры Архипелага ГУЛаг, подходит к концу избивание крестьян, начинают падать его товарищи по партии, подвергаются пыткам и осуждению самые близкие соратники. Но Бухарин не спорит с Государством, он составляет для него правила поведения, создает „самую демократическую в мире Конституцию”. Государство занимается массовыми чистками общества – неважно, мыслитель занимается очищением языка Государства! Бухарин вкладывает свои слова в уста Государства и отдает ему свою голову: на, руби.

Мы продолжаем эту же игру с меньшим риском, рассуждая о принципах и ошибках социалистического государства (поскольку оно себя таковым называет); мы припираем его к стенке, напоминаем ему о его законах, бросаем ему в лицо цитаты из Маркса и Ленина, или же бросаем это „социалистическое государство” в лицо Марксу: „Этого ты хотел?”



Мы исправляем — в теории, конечно — одни ошибки, находим другие, реабилитируем, выискиваем корень теоретических грехов все глубже в прошлом, —

Что на землю сбросил Бог —

В этом мне Вольтер помог,

А что в пруд упасть пришлось —

Без Руссо не обошлось.

короче говоря, не переставая исправляем, полируем, нюансируем монолог критика-теоретика, этот мнимый диалог, при помощи которого он ставит себя на место Государства и позволяет Государству болтать вместо себя.

Этот монолог Бухарина, говорящего с Государством, о Государстве и в качестве Государства — что показывает, что все мы из него вышли? Перед самым арестом он пишет в последнем защитительном письме: „Жизнь моя кончается. Я склоняю голову перед топором палача... Я чувствую свою беспомощность перед этой адской машиной, которая, — вероятно, при помощи средневековых методов — приобрела гигантскую власть, фабрикует клевету конвейером, действует дерзко и уверенно”. Остановитесь. Кому адресовано это уникальное послание, которое Бухарин велит жене выучить наизусть для потомства? „Будущему поколению партийных руководителей”! В разгар кровопролития, что заявляет этот падший вождь партии-миллионерше по числу трупов? „Вот уже семь лет я сражаюсь в рядах партии и ни разу не имел ни тени расхождения с ней”. Неужели средневековыми методами вырвано у него это удивительное заявление о своей невиновности: „Я без колебаний отдал бы жизнь за Ленина, я любил Кирова, я никогда ничего не предпринял бы против Сталина”?

Разве столкнувшись с мирком Бухарина, с этим еще не питанным человеком, в голове которого нет ничего, кроме диалога вождей с вождями, мы не переносимся далеко за средневековые методы, к тому начальному моменту, когда западная философия закрепила солидарность вождей перед лицом беспорядка? К моменту, когда аристократ Платон

вывел на сцену плебей Сократа, вложив ему в уста слова о том, что он, хоть и безвинно осужденный, все-таки выпьет смертную цикуту, вместо того чтобы бежать? К моменту, положившему начало традиционному наставлению: Государство, даже несправедливое, заслуживает уважения, ибо всякая справедливость исходит, исходила и будет исходить от Государства? Троцкий от имени всего поколения „ленинцев” — во всем остальном такого разделенного — выразил это лозунгом: „Права или неправа — Партия прежде всего!” Партия авангарда, партия будущих государственных вождей! „И пусть им придется убить или изгнать того или иного для очистки и оздоровления города, отсылать людей в колонии, как роят пчел, чтобы уменьшить город, или же ввозить людей из-за границы и делать из них новых граждан, чтобы увеличить город, — если только они пользуются помощью науки и справедливости, чтобы сделать его из плохого как можно лучшим, то только тогда и на таких основаниях Конституция должна быть для нас единственной правильной Конституцией”.<sup>2</sup>

Мы думаем, что избавились от этого. У нас есть целый список причин спокойствия вождей вычищающих и соучастия вождей вычищаемых. Сайентизм-догматизм-волюнтаризм-субъективизм-экономизм-механицизм-морализм-аморализм... Список остается открытым, этот список теоретических ключей к разгадке, которые объяснят, что социализм в своей идеальной сути и социализм в его русском воплощении мало в чем совпадают. Все это ошибки: ошибаться можно, от этого не перестанешь быть членом семьи.

Ах! Если бы социалистическое государство так же хорошо умело мыслить, как мы! Поставим же себя на его место, составим для него законы. А тем временем чем больше мы „критикуем” эту семейную манеру, чем больше удлинняем список совершенных ошибок, тем больше раздуваем роль Государства - которое не должно больше совершать ошибок. Каких ошибок, чьих? Сталина, руководителей, государственных деятелей, да еще социалистического государства! Неизбежный вывод: отныне Государство должно быть сильнее

своих ошибок. Под предлогом критики прошлого, мы его еще усиливаем: будьте более могущественными, советуем мы вполголоса руководителям будущего государства. Это относится и к „марксистам”, и к „анти-”, чьи теории приводят к тому же совету: государство должно быть сильным, „чтобы бороться против этого социализма”. Практически вся европейская элита произносит одну, общую для всех речь о грехах социализма и о государстве, которое — „социалистическое” оно или нет — вооружается против этих грехов. Теология Государства, всемогущего во зле, как и в добре! Мы путаемся и мямлим, и употребляем нашу тонкость для перечисления ошибок социалистического государства. Когда же мы обратимся к ошибке не государства, но тех, кто должен был бы ему сопротивляться, а не верить его социалистическим заявлениям? Да ошибка ли это или несомненное, длительное и повсеместное соучастие, сговор элиты с элитой, руководителя с кандидатом в руководители, государственного человека с государством-человеком?

Из всех пространных объяснений „недостатков” СССР теоретическими заблуждениями его руководителей мы запомним исторически правдоподобную гипотезу об относительной искренности вождей-ленинистов: они в это верили — в этом смысле можно говорить об ошибках, чтобы не счесть их сознательными Люциферами или врожденными имбецилами. Кретин-теоретик — это не кретин (или злодей), завладевший теорией, а продукт теории, пропитывающей его насквозь и делающей полным кретином. Споры о „строительстве социализма”, которые приводят наследников Ленина к великим процессам (1923 — 1936), прекрасно показывают, как элита сама себя делает уницей собственной элитарной теории.

Вся эта словесная алхимия противопоставляет сторонников „перманентной революции” сторонникам „социализма в одной стране”, „промышленников”, т. е. сторонников „социалистического первичного накопления” (Преображенский) — сторонникам сбалансированного обмена между городом и деревней (Бухарин).

Ретроспективно все эти теории представляются бесконечным вышиванием узоров по одной простой истине: в доме повешенного не говорят о веревке. Столько теоретизируют обычно лишь тогда, когда не хотят заговорить о главном: нужно стереть из памяти плебейские высказывания умирающего Ленина о сомнительности советского государства и о том, что его руководители — „мы” — заслуживают быть повешенными за ноги. Все ходят вокруг да около, говорят о другом, спорят о „мировом рынке”, который сделает невозможным (Троцкий) или необходимым (Сталин) построение социализма в одной стране. Что же до государства, за руководство которым идет спор, никто не сомневается, что государство это будет „пролетарским”, „рабоче-крестьянским”, и т. д. Несколько диссонирующих фраз отца теории тщательно вымарываются. Тем не менее, только об этом и идет речь.

Каждый обнаруживает эти недостатки — но всегда у противника. Бухарин ясно понимает, что выдвигаемый сторонниками быстрой индустриализации „закон социалистического первичного накопления” сводится ко взгляду на деревню как на „колонию”, резерв рабочей силы и природных богатств, которые грабят, чтобы построить советскую промышленность. Он даже предвидит, что планируемое создание советских „трестов” и „комбинатов” может привести к „монополистическому паразитизму”, аналогичному паразитизму крупных капиталистических фирм, избавившихся от конкуренции.

Соответственно, противникам его нетрудно показать, что в торговых отношениях, которые, по его мнению, должны регулировать баланс между городом и деревней, нет ничего специфически социалистического. Где гарантия против возникновения вновь различий между богатыми и бедными? Пролетарское государство, регулирующее обмен, отвечает Бухарин; „развивается сознательный коллективный субъект: это пролетарское государство со всеми подчиненными ему органами”. То же самое отвечают промышленники на возражения Бухарина: нельзя утверждать, что государственная

промышленность грабит деревню... ибо речь идет о „государстве рабочих и крестьян“.

Противники обвиняют друг друга в оскорблении величества: как можешь ты, Преображенский, говорить о „первичном накоплении“ рабочего государства? Я тебе процитирую страшные марксовы описания капиталистического первичного накопления: разве не совершается оно в крови и грязи? Как можешь ты, Бухарин, говорить о государстве, которое ограничивается регулированием обмена, разве ты не знаешь, что тогда оно затрагивает, подобно буржуазному государству, лишь поверхностную сферу „демократической“ циркуляции товаров? Разве Маркс не показал, что за этим фасадом происходит сосредоточение капитала, экспроприация и эксплуатация? Где гарантия, что баланс обмена — теперь уже не буржуазное, а открывающее путь к социализму правило? Но во всех фигурах этого танца выдвигаемое решение идентично: государство является „пролетарским“, оно отвечает на все и за все. „Краеугольным камнем ленинского понимания переходного периода является пролетарский характер государства“, — продолжают повторять и сегодня, пятьдесят лет спустя, троцкисты, заспиртованные в растворе эпохи, которая, еще прежде чем „пролетарское государство“ само себя объявило „социалистическим“, уже склонилась перед этим оракулом нового времени.

Каждый из теоретиков видит и изобличает в теоретическом противнике именно выдвижение буржуазных функций (накопление капитала, финансовое равновесие и т. д.) как функций пролетарского государства. И каждый прыскает со смеху: „Ну не чудовищная ли аналогия?“ — и давай обелять государство от всех подозрений, обрушивая их на голову противника. А потому отчего же не поверить государству на слово — ведь истинная теоретическая точка зрения, та, что может отличить социалистическое от несоциалистического, есть не что иное как точка зрения государства! Сталин не выпадает из тона, утверждая до самого конца, что противоречия русского общества будут „постепенно“ изживаться под эгидой государства (1952).

На этом месте вы останавливаетесь как вкопанные. Сталин. Кукушонок в выводке ленинских птенцов. Ату его, вот кто во всем виноват! Прекрасный способ снять ответственность с большевистской элиты; но послушаем-ка лучше ее самое. Итак, 1926 год, у Сталина еще нет абсолютной власти; коллективизация, чистки – все это будет позже. Два руководящих ума погружены в дискуссию. Попытаемся проникнуть в мир, встающий перед их внутренним взором. Полюбуйтесь-ка, какой образ вдруг в разгар дискуссии об индустриализации выдает Преображенский, желая убедить читателя, у которого голова и так уже забита теоремами и контр-теоремами экономической науки:

Но ведь, во-первых, уже само наше сотрудничество с крестьянской беднотой и середняками есть не что иное как особая форма борьбы за социализацию сельского хозяйства. Аграрная часть нашей программы достаточно четко высказывается по этому вопросу. Во-вторых, не надо забывать о вынужденном характере нашего сотрудничества с частной экономикой. Сотрудничество бывает и в тюрьме. Разве мы в каком-то смысле не находимся в концентрационном лагере вместе с капиталистическими элементами нашей экономики? Мы одновременно и охранники, и узники. Узники потому, что отделены тюремной стеной времени от эпохи мировой социалистической революции, из которой сотканы все фибры социалистического сектора нашей экономики. Охранники – потому что укрепления, воздвигнутые нашей монополией внешней торговли, нашей таможенной системой, нашим плановым импортом, и возникающий в результате всего этого уровень внутренних цен, отъединяют нашу частную экономику от мировой частной экономики, к которой она тяготеет.<sup>3</sup>

Перечтем внимательно. Преображенский предвосхищает будущее: эффективным средством от „частной” (крестьянской) экономики станет лекарство концлагерей. Но образ этот говорит о гораздо большем. „Мы” – вожди, партия, государство, „сознательный пролетариат” – „мы одновременно охранники и узники”. „Охранники” – это мы увидим, это станет главным событием 20-го века. Но „узники” – когда, в каком веке мы это поймем? Эти вожди приняли

необходимость стать охранниками лишь в той мере, в какой внутренне себя извиняли: мы и узники тоже!

Вовсе не Сталин, а возникшая до него „тюремная стена времени” обрекает нас на ремесло тюремщиков. Вот она, стена будущих бухаринских lamentаций, стена, к которой человек согласен припасть с криком: „Да здравствует государство социализма!”, умирая от пуль государственной полиции. Эта стена воздвигается на глазах у вождей вокруг пытаемого народа. Россия находится в процессе превращения в концлагерь; в кои-то веки один из руководителей формулирует то, что подразумевается во всех дискуссиях, и что же он добавляет? Согласны, мы сами себя поселим в лагерь, прежде чем послать туда других. Между нашей государственной экономикой (социалистический сектор) и мировой социалистической революцией возвышается **время**. Укрепившись на клочке нашего собственного социализма, мы оторваны от социализма всемирного и окончательного, мы окружены, мы в тюрьме; между ними двумя — время. **Между двумя чем?** Между двумя вечностями? Моя душа вечна, после смерти я познаю истинную вечность; между ними двумя — тюрьма, могила, мое брненное тело: **так говорил** Платон. Между нашей душой — социалистическим государством — и вечным, повсеместным социализмом высится тюрьма времени, народа, тела: **так говорил** Преображенский. Мы в осажденной крепости; так пожертвуем же телами наших мужиков, наших рабочих, наших интеллектуалов, ради спасения своей социалистической души: так позднее скажет Сталин. Со времен Платона теория занята вечными вещами, со времен Платона элита планирует свое тысячелетнее царство, удаляя отбросы: не постигающий великих замыслов плебс, мятежное время, ложно направленные умы.

Элита живет в осажденной крепости — Государстве. Вокруг нее: плебс и беспорядочное время. Над ней: вечность. Между крепостью и вечностью мост: теория. Приклейте прилагательное „социалистическая” — и получите интеллектуальный ландшафт окопавшихся в России ленинистов.

На них нападут с тыла и слопают как кроликов: разве можно защищаться от социалистического государства? И вот уже государство ударяет по ним сзади и блюет на них. Почти затопленные, они продолжают называть эту блевотину социализмом. Теория ли делает их такими идолопоклонниками Государства, или, наоборот, уважение к государству делает их такими теоретиками? И настолько на стороне своих же могильщиков? Обладают ли они государством, созданным по их теории, или оберегают свою теорию государства? Что раньше, эта курица или это яйцо? Между элитами, государством и их теорией уже давно существует сговор; европейский марксизм лишь обновил его словарь.

Эти оказавшиеся в России узники-охранники чувствуют, что находятся в лагере, за „тюремной стеной времени”; они воздвигают другие лагеря с более прочными стенами; в 1926 г. они — это „большевики”. Их портрет уже за сто лет до этого набросал Пушкин. Его Евгений Онегин олицетворяет нигилистического героя, „человека, который живет в беспечности и не может с этим примириться; который не верит в родную землю и таящиеся в ней силы; который кончает отрицанием России и самого себя”. Тип слишком терзающийся для большевика 1926 г.? Но когда около 1880 г. за этот портрет берется Достоевский, он добавляет к „узнической” стороне „охранническую”. Его герой отверзает уста, и что же мы слышим?

Надобно, чтоб такой народ как наш — не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Надобно, чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами.

Наш герой нашел решение, он спасется вместе со своим народом. Он пророчески объявляет:

Позвольте, не беспокойтесь и не кричите: не закабалить народ наш мы хотим, говоря о послушании его, о, конечно нет! не выводите, пожалуйста, этого: мы гуманны, мы европейцы, вы слишком знаете это. Напротив, мы намерены образовать народ наш помаленьку, в



порядке, и увенчать наше здание, вознеся народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там сама наступит после образования его. Образование же его мы оснуем и начнем с чего сами начали, т. е. на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас же начнем обольщать его Европой, ну, хотя бы утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, — словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль, сколько бы вы там ни сердились на это. Одним словом, для доброй цели мы, многочисленнейшими и всякими средствами, подействуем прежде всего на слабые струны характера, как и с нами было, и тогда народ — наш. Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, — вот наша формула! — Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то — „устранить народ”. Ибо тогда выставится уже ясно, что народ наш есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что же тут делать: в интеллигенции и в Европе лишь правда, а потому хоть у вас и восемьдесят миллионов народу (чем вы, кажется, хвастаетесь), но все эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правде, так как другой нет и не может быть.<sup>4</sup>

Внимание! „Импортный марксизм” не уничтожается перед лицом „вечной Руси”. Что здесь поразительно предчувствует Достоевский — это то, к чему приведет в будущем ускоренное и принудительное „озападнивание”, когда-то навязанное русскому народу его царями (Петр Великий). Эту эстафету после падения автократической власти переймет мирская и европеизированная интеллигенция. В этой истории вечна не Русь, а Запад: тот самый Запад, который начал с завоевания собственной деревни, продолжил завоеванием колоний, а теперь нападает уже на всю планету. То, что вестернизация России завершается под знаменем марксизма, не дает нам права искать оправданий, указывая на связь между „ошибками” марксизма и „отсталостью” России. Марксизм был передовым подразделением Запада в России. Подумаем же

лучше о взаимосвязи теоретического и практического западного империализма с теоретическим, а затем уже практическим империализмом марксистским.

Идея спуска социализма от вождей в массы, от государства к обществу – это не марксова идея, но с момента его смерти она становится лейтмотивом немецких марксистов. Разве не управляется буржуазное общество „небольшой горсточкой” крупных капиталистов (Гильфердинг)? Разве не привносится социализм в ряды пролетариата извне (Каутский), будучи сначала достоянием небольшой горсточки ученых? Одна горсточка управления в хороших руках, поскольку те, кто ее теперь держат, ссылаются на теорию; в Европе 20-го века будет господствовать „пруссский социализм”. Это предвидит Ницше, от которого не укрылись отношения, завязавшиеся между имперским канцлером Бисмарком и одним из родоначальников немецкого рабочего движения Лассалем:

Социализм – это своенравный младший брат агонизирующего деспотизма, чье наследство он хочет получить; поэтому его устремления реакционны в самом глубоком смысле слова. Ибо он желает такой полноты государственной власти, какой деспотизм никогда не обладал, он стремится к полному и окончательному уничтожению индивидуума, каковой представляется ему неоправданным излишеством природы, которое он, по его мнению, призван исправить, сделав из него полезного члена коллектива. Из-за этого сродства он всегда появляется неподалеку от всех избыточных проявлений власти, как появился древний социалист Платон при дворе сицилийского тирана; он желает (и, если представится случай, способствует) возникновению государства цезаревского деспотизма, ибо хотел бы, как я уже сказал, стать его наследником. Но даже такое наследие недостаточно для его целей. (...) Поэтому он тайно готовится к осуществлению крайнего террора, поэтому гвоздем вколачивает слово „Справедливость” в головы полуобразованных масс, лишая их последних остатков здравого смысла. (...) Социализм четко и ясно показывает опасность всякого усиления государственной власти и, соответственно, внушает недоверие к самому государству. Пусть его хриплый голос примешивается к воинственному кличу: „Как можно больше Государства!”, – этот клич вначале будет слышен громче,

чем когда бы то ни было, но вскоре с еще большей силой зазвучит противоположный клич: „Как можно меньше Государства”.<sup>5</sup>

В античной Греции фракийская служанка покатывалась со смеху, когда философы со взглядом, устремленным в небеса, спотыкались о действительность. Может быть, и Сталин смаковал как хороший анекдот зрелище Бухарина, объявляющего себя объективно виновным (одновременно намекая на свою субъективную невиновность) и готового заплатить своей реальной покаянной головой за памятник, который, он надеется, ему воздвигнет будущее. Первым и одним из величайших политических гениев этого типа, всегда замешанных в дела весьма низкого и гнусного свойства, но умудряющихся сохранять в голове и в книгах тем более чистую и строгую картину идеального образа правления, был Платон (см. его интриги с тираном Сицилии). Этот тип с одной стороны – кретин или негодяй, с другой – философ; он зажат между двумя видами политики: гнусной и академической, между двумя мирами: осязательным и теоретическим. В конечном счете он раздвоен между реальными нуждами насильственного управления плебсом и идеальным согласием, которое заставляет себя находить среди образованной аристократии. Современная политика на свой, особый лад воспроизводит платоновское различие двух миров: человек из мира плебса, блуждающий в тенетах эмпиризма, получает наставления извне, от теоретика, от государственного человека. Английский философ Расселл недаром еще в 1920 г., побывав в советской России, заметил, что она в некоторых отношениях устроена как платоновская „Республика”.

Современная теория до своего аристократического платоновского наследия дотрагивается не иначе как в перчатках. Она отказывается от идеи разделения двух миров, относя ее за счет невежества, всегда расцениваемого как плебейское. Миром правит и Историю вершит знающий; люди компетентные не ждут, пока на них снизойдет некое

божественное озарение, они не изображают из себя аристократов, обладающих богоданным правом, они сами себя венчают на царство, с первого раза преодолевая „тюремную стену времени”; их генеалогическое древо растет не корнями, а кроной, пышной листвой, растущей в будущее. Устремленный к солнцу взор теории всегда созерцает Объект, истинность которого ускользает от вульгарного взгляда; солнце современной теории – Государство – организует невежественный плебс и объединяет мыслящую элиту. На деле мыслитель по-прежнему раздваивается между низкой практикой и претенциозной теорией, но сам этого не видит. Его теория изо всех сил старается сделать Государство разумным – и чем хуже Государство, тем глупее он сам. Венцом современной политики является кретинизм Бухарина, который, держа под мышкой собственную голову, назначает нам свидание в будущем, этом историко-диалектико-материалистическом Сен-Дени.

По ту сторону добра и зла, по ту сторону здравого смысла и смехотворности, она все еще обращается к нам, эта голова без тела, она реабилитирует расстреливающих, надеясь, что те реабилитируют ее. Мы слышим ее, мы разбираем ее шопот (по ту сторону осязательного опыта, в вечности теории): Я почил в Социализме!

Это голова современная, философская, платоновская, на манер мэтров 20-го века. „Стремление отныне не к сохранению, но к могуществу; не смиренное „все в мире лишь субъективно”, но „вот дело наших рук! Будем же им гордиться!” (Ницше). Стать хозяином – значит стать узником-охранником, подчиниться приказу, заплатить собственной личностью за возможность персонифицировать государственного деятеля, преодолеть стену времени. „Сообщить становлению характер Бытия – вот высшее стремление власти” (Ницше). Когда кремлевские деспоты заявляют о своем „социализме”, потрясая букетом голов и спутников, разве это не триумф вестернизации России?

Все наши академические учреждения согласно называют социалистическим величайшее рабовладельческое государ-

ство нашего времени. А почему бы и нет? Уважение, питаемое нами к Платону, остается нерушимым, несмотря на то, что 9 греков из 10 были рабами и его это совершенно не беспокоило (западный разум умеет опускать такие подробности). Наша любовь к ученым теоретическим дефинициям прямо пропорциональна нашему презрению к страданиям русского плебса и нашему сознательному игнорированию его сопротивления. А это заставляет заподозрить, что сговор между западной элитой и современным государством настолько тесен, что они уже даже не могут друг в друге усомниться. Так пусть же Государство объявляет свои концлагеря социалистическими, и пусть карп отныне зовется кроликом.

Итак, у нас есть несколько сильных резонансов для обозначения происходящего в России как социализма. Прежде всего наш разум, наследие „старого социалиста Платона“. Европа могла назвать веком Разума 18-й век, когда добрая треть крестьян погибала на войне или умирала от голода; она воспевала эру прогресса, когда детей рабочих, не сожженных крысами в подвалах Лилля, заглатывала фабрика; она рассуждала о цивилизации, одновременно колонизируя другие народы земли. Так почему бы ей и не теоретизировать по поводу нового социализма, целомудренно отводя взгляд от поглощаемых Сибирью эшелонов с узниками?

Восхитительное целомудрие! Оно всегда вынуждало нас считать людоедство чужим пороком (так, наши „антисоветчики“ выдают русских деспотов за образчики экзотического социалистического варварства). Оно не позволяет нам признать собственное людоедство (это все ошибки, антипод того, к чему мы стремимся, — уверяют „просоветские“). Восхитительная Европа! Она экспортирует свои выгребные ямы, а потом и близко к ним не подходит, опьяняясь теоретическими дезодорантами, и нужны эти форпосты — колонии, Россия — чтобы ткнуть ее носом в собственное дерьмо.

А если то, что окопалось в России и превратило Россию в лагерь, — это не передовые подразделения социализма и не

остатки атавистического азиатского деспотизма, а просто наша история? Не прошлое ее и не будущее, а повторение? Прочтите внимательно *Архипелаг ГУЛлаг*, и вас охватит чувство, что вы все это уже где-то видели и слышали. Выкорчевывание деревни, стискивание рабочих в казармах, чистки и перевоспитание элиты. Каждый век одними и теми же способами цивилизовал какую-нибудь частичку Европы.

В одном из закоулков нашего континента два спорящих затворника вспоминают поэму старого европейца:

... Только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет: „Остановись, мгновенье, ты прекрасно!“ Но все, что не раскладывает Мефистофель перед Фаустом – возвращение молодости, любовь Маргариты, легкая победа над соперником, бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия – ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом, он видит, что сделать человека счастливым нельзя и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший, Фауст велит Мефистофелю созвать тысячи рабочих и начать копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу, кажущемся циничному Мефистофелю затемненным и безумным, засверкала великая идея – осчастливить человечество. По знаку Мефистофеля являются слуги ада – лемуры, и начинают рыть могилу Фаусту... Мефистофелю не изменяет дух насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наша критика любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле: дескать, ощутив, что принес пользу человечеству и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает:

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!

Но разобраться – не посмеялся ли Гете над человеческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой пользы, никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый и, может быть, правда обезумевший (...)

– Ах, Левочка, вот таким, как сейчас я тебя только и люблю – когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки.<sup>6</sup>

Критики, оптимистически истолковывающие конец вто-

рой части *Фауста*, вычитывают в нем хитрость Разума. Священная диалектика: дух, что вечно хочет зла, вечно творит благо. То есть тот, кто хочет социализма, творит лагерь? Какая разница, ведь в конечном счете творец лагерей строит социализм! Что же касается плебса, осушающего болота, то ни Фауст, ни тем более доктора наук его не видят и не слышат. Это вовсе не старческая глухота; это та старинная глухота, которая хочет слушать только распорядителя, его резоны, его Государство. Плебея же осчастливят, не смотря на его крики и сопротивление. Хитрость Разума: роды в мучениях, счастье помимо вашей воли.

Это счастье — идея для Европы не новая: с тех пор как аристократия начинает искать себе оправданий, она выставляет ее напоказ в своих программах (начиная уже с *Республики* Платона). И хитрость эта не нова: если бы в основе нынешних несчастий не лежало будущее счастье, кто бы заставил европейский плебс построить капитализм? А разве в России мы имеем дело не с тем же? И если там марксизм становится втупик, то не потому ли, что он недостаточно хитер, чтобы понять хитрости капитализма?

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Платон: *Политика*.
2. Там же.
3. Преображенский: *Новая экономика*.
4. Ф. Достоевский: *Дневник писателя за 1877, 1880-81 гг.* В: *Собрание сочинений*, т. 21. Изд. восьмое. С.-Петербург, стр. 430-431.
5. Ницше: *Слишком человеческий человек*.
6. А. Солженицын: *В круге первом*.

## Глава 2

### Интернирование и его социальные корни, или новые похождения Людовика XIV

„Откуда этот противоестественный симбиоз  
тюрьмы и больницы?“

Владимир Буковский

„Если Россия собирается превратиться в капиталистическую страну, по образцу стран Западной Европы – а последнее время она очень усердствует в этом направлении – то чтобы это сделать, ей придется предварительно превратить большую часть своих крестьян в пролетариев; а после этого, раз оказавшись в лоне капиталистического строя, она, как и другие непосвященные страны, подпадет под действие его безжалостных законов“.

Маркс – Михайловскому, 1877 г.

Пошлость пытаемых тел: все они похожи друг на друга. Когда в 1946 г. систему описал высокопоставленный советский чиновник (Кравченко, *Я выбрал свободу*), честные интеллектуалы принялись вопить: Кравченко лжет, это списано со свидетельств о нацистских лагерях. (Позднее некий Хрущев, первый секретарь, выдал часть правды, и эти опровержения сделались более диалектичными, хотя оставшаяся часть затем сокрушила Хрущева, и т. д.).

Можно вообразить, что он откуда-то взял свои описания: тонкость чувств обитательницы Версаля, тыкающей зонтиком в глаз коммунару, вероятно, не чужда псам НКВД. Мы до сих пор спрашиваем себя, что испытывал Нерон, глядя на пылающий Вечный Город. Но что думали по этому поводу неронианцы? А что испытывают те, кто вот уже пять-



десять лет сочиняет апологии русского государства в своем „классовом”, „коммунистическом”, если угодно, журнале? А римские патриции, прогуливавшиеся по аллеям с живыми изгородями из распятых рабов-мятежников Спартака? А приличный человек, посещающий в Бисетре кандалников: безумцев, распутников, бедняков — словом, всяких „распущенных”? А мы? Что думаем мы о государстве, которое считает оппозицию душевной болезнью и **делает уколы** тем, кто против него протестует?

Что видим мы сквозь это зеркало? Ничего своего: либо путеводные огни социализма, либо фонарь деспотизма, в зависимости от вкусов и окраски — но ни следа, ни оттенка Запада! У нас ведь больше нет ни рабов, ни бидонвилей. 80–90% рабочих на конвейерах острова Сеген (Бийанкур) — иностранцы. Директор этого государственного завода выступает свидетелем на процессе. Он пришел не защищать обвиняемого, с которым едва знаком: это Трамони, официально его заместитель по кадрам (официозно — глава частной заводской милиции), убивший выстрелом в упор молодого рабочего Пьера Оверни. Он просто должен сказать, что его, белого директора этих арабов и негров, нельзя заподозрить в расизме, что гарантией тому его фамилия — Дрейфус. Новому делу Дрейфуса не бывать: просто корсиканец, чуть что хватющийся за пистолет, к несчастью, был завербован в армию запаса, потом произведен в начальники национальной гвардии завода Рено; как-то он вышел из себя, выстрелил — и получил... четыре года. Фамилия директора завода **против** трупа молодого человека. Этикет Государства, которому скоро предстоит праздновать свое „социалистическое” шестидесятилетие — **против** миллионов тел в арктических морозильниках.

Решительно, в нашем веке уважается новая знать: именная. Теперь важна не чистота крови (разве что возможность пролить чужую кровь). Не древность рода. Благовоспитанный западный человек должен иногда рассеянно поглядывать в русское зеркало — хоть его и смешат увиденные там экзотические курьезы. Устремленный на него оттуда, време-

нами пугающий его взгляд – это не его взгляд; пытающая рука – не его рука; это не он подносит ко рту клубнику, выращенную в парниках Магадана, края, где заключенный протягивает в среднем месяц; он никогда не узнает в России западного Трамони. Да и кто это такой – Трамони?

Пройдем сквозь зеркало. По другую сторону – никого, только мы сами, наши идеи, наша история. Разумеется, в сокращенном виде. Славное европейское общество не называло эту страну чудес „социалистической”, но все было налицо уже в 1750 г.:

В ту самую эпоху, когда интернирование уже теряло смысл, все мечтали об идеальных исправительных домах, функционирующих гладко и беспрепятственно, в безмолвном совершенстве, о напоминающих галлюцинацию Бисетрах, где все коррекционные системы будут действовать в чистом виде; там будет царить сплошной порядок, все кары будут точно отмерены, это будет организованная пирамида труда и наказаний – словом, лучший из миров зла. Мечтателям хотелось, чтобы эти идеальные крепости никак не соприкасались с внешним миром: полностью замкнутые на самих себе, они будут жить единственно злом, в самодостаточности, предотвращающей сразу и рассеивающей ужас. В своем независимом микрокосме они будут перевернутым отражением общества: порок, принуждение и кара будут зеркально отражать добродетель, свободу и вознаграждения, составляющие человеческое счастье.

Бриссо, например, чертит план идеального исправительного дома, в строгом соответствии с архитектурной и моральной геометрией. Каждый клочок пространства облекается символической значимостью скрупулезно продуманного социального ада.<sup>1</sup>

Когда будущий вождь 1-й Республики Бриссо и „столп” модернистской литературы де Сад таким образом рисовали себе в мечтах „социалистическую Россию”, французская революция еще не началась, однако два века нравственного миропорядка уже распространили буржуазные ценности, заключение было лекарством, применяемым к тем, кто их оспаривал. В чертеже идеального исправительного дома

кристаллизуется логика порядка, „некая карикатурная истина, показывающая не только какой виделась тюрьма или психиатрическая больница, но и какие отношения устанавливает буржуазное сознание между работой, выгодой и добродетелью.<sup>2</sup> Бригада ленинцев-„менеджеров” взялась за Россию с тем, чтобы „догнать и перегнать” капиталистические страны. Она не знала ни что нашла такой прекрасный лозунг, ни что совершит такое замечательное дело. Русское тюремное заключение догнало и перегнало „великое заточение”, которым ознаменовалось начало буржуазного строя в Западной Европе (17 – 18 вв.)

### **Весенние генеральные чистки**

Уже в январе 1918 г. Ленин – находящийся у власти три месяца – приказывает организовать соревнование, чтобы „очистить русскую землю от всякой нечисти”. В набор входят: „рабочие, уваливающие от работы”, „саботажники, именующие себя интеллигентами”, и т. д. Солженицын, шокируя всех „ленинистов”, видит в этом начало великой чистки, которая превратит Россию в современную страну. С течением лет, впрочем, Ленин начинает высказываться еще яснее, доверительно сообщая Горькому, что не имеет смысла ложиться костями на защиту интеллигенции, которая в целом – „дерьмо”. Что до рабочих, то на 2-м съезде работников просвещения (1921 г.) Ленин заявляет: „Пролетариат исчезает”. Исчезает в количественном смысле, обескровленный гражданской войной, разметанный кризисом (Ленин насчитывает в 1922 г. 1 200 000 промышленных рабочих против 3 000 000 в 1917 г.; в то время в России 130–140 миллионов жителей, в большинстве крестьян, а начиная с 1920 г. советский государственный аппарат насчитывает 5 880 000 человек – в три-четыре раза больше, чем рабочих!) Исчезает качественно, ибо у него забирают его героев и одаренных карьеристов: „Промышленный пролетариат... деклассировался... и перестал существовать как пролетариат”.

Остается океан русского крестьянства: большевикам он чужд, они воспринимают его как враждебную силу. Остаются прежние привилегированные классы, источник анонимных заложников. Ну чем не диктатура пролетариата!

Оправдать диктатуру пролетариата без пролетариата можно двумя способами. Первый – включение в его ряды деревенской бедноты (Мао). В отличие от тогдашних социалистов-революционеров и махновцев, а потом от китайских коммунистов, большевики и по происхождению, и по практике, и по идеологии – горожане. Деревня существует для того, чтобы поставлять солдат, платить подати и насильственно коллективизироваться. У Америки есть негры, у советской России мужики: хоть их и больше, мы их сумеем усмирить. Остается второе оправдание, милое сердцу нынешних теоретиков-ленинистов: если фактически пролетариата и нет, то он есть в идее, бриз марксизма в головах вождей доказывает существование диктатуры пролетариата (*cogito ergo sum!*) – „сам ход событий показывает на практике наличие диктатуры пролетариата, достижение глубокого единства народных масс, под руководством большевистской партии проводящих в жизнь революционный марксизм” (Беттельгейм).

Что называется ходом событий? Победа русской революции в гражданской войне и ее триумф над иностранной интервенцией? Мы знаем другие, столь же победоносные революции, которые, несмотря на „вооруженный народ”, не становились пролетарскими. Нет. Истинный ход событий, позволяющий теоретику вновь обрести свою любимую идею (диктатуру пролетариата) в умах вождей, заключается в том, что большевики уничтожили всех своих союзников (эсеров, анархистов...), запретили всякую оппозицию (меньшевики, трудовики), вплоть до оппозиции в собственных рядах (Рабочая оппозиция). Разумеется, перед нами диктатура пролетариата: кто станет возражать? Не миллионы же служащих, солидарных со своим государством. И не рабочие, эти деклассированные элементы, которых следует подчинить „железной дисциплине”... Класса. И не крестьяне, потонув-

шие в „океане мелкой собственности”. И не прогнанные интеллигенты вместе с прочим отребьем бывших имущих классов.

Среди царящего безмолвия ленинисты приступают к первым опытам в сфере принудительного труда и организуют лагерь. Туда упрятывают „всякую нечисть”:

А сколько всяких окаянных интеллигентов, неприкаянных студентов, разных чудачков, правдоискателей и юродивых, от которых еще Петр I тщился очистить Русь и которые всегда мешают стройному строгому режиму?<sup>3</sup>

Там, где парижский ленинист теоретизирует о диктатуре пролетариата, Солженицын видит стремление завершить проект Петра Великого: вестернизацию России, модернизацию сверху, создание промышленности и накопление капитала под давлением русского государства. Большевистский террор есть буржуазный террор в якобинском стиле. Так думает послеоктябрьский нарком юстиции И. Штейнберг, выгнанный Лениным вместе с другими левыми эсрами. Такого же мнения придерживаются различные крайне левые европейские группы, продолжающие „антиленинскую” критику Розы Люксембург. Такова теория „устряловцев”, старых кадетов-эмигрантов, предлагающих „занятие изнутри” государственного аппарата: „Большевики кончат обычным буржуазным государством... История движется разными путями”. Кто оказался прав? Те, кто говорили об обычном буржуазном государстве, ошибались.

Механизм имеет с самого начала. Столкнувшись с ошутимой массовой враждебностью, наши ленинисты приступают к тому, что у них называется „социальной профилактикой”. Лагеря и „перевоспитание” путем принудительного труда возникают в самом начале Гражданской войны, а с первыми пятилетками (после 1928 г.) приобретают гигантские масштабы. Они входят составной частью в стратегию, наметившуюся с первых дней: стратегию массовых „профилактических” репрессий.

Взятие „заложников” советская полиция практикует с первого же года революции. Она и первые лагеря открывает, чтобы было где их сосредоточить. Отбираются заложники не по принципу личной ответственности за контрреволюционную деятельность, а по статистическим данным о „классовой принадлежности”. (Если ты сын чиновника, интеллигента или просто крестьянина, живущего во враждебной губернии, ты родился „белым”). Позднее по тому же статистическому принципу будет производиться массовая концентрация отбросов истории (требуется найти 5% троцкистов, — и пошло-поехало!). „Я верю, что лично вы ни в чем не виноваты, но, образованный человек, вы же должны понимать, что проводилась широкая социальная профилактика!” — доверительно сообщает лагерный начальник.<sup>4</sup> Да, в одном наши ленинцы образованы: они понимают, что окопались во враждебном обществе; следовательно, их государство должно его „очистить”.

Под флагом социальной гигиены государство приступает к лечению общества, к вычищению и перевоспитанию. „Всякую нечисть” последовательными волнами сгоняют в ГУЛаг для преобразования „социалистическим трудом”. Юридически, как мы видели, мало кто из русских не подпадает под категорию „нечисти”. На деле же бьют прежде всего по разным маргинальным элементам, угрожающим политической, идеологической, культурной, социальной гегемонии партии и партийного руководства. Политическую и религиозную оппозицию прореживают, рабочие волнения и крестьянские мятежи подавляют, деревню коллективизируют, безработицу „устраняют”, устраняя безработных... лагеря с каждой дезинфекцией разрастаются. В них исправляют, в них искореняют. Туда сгоняются все: сознательные и мнимые оппозиционеры, пламенно верующие, суровые ученые, разорители садов, „хулиганы”, сборщики колосков, бандиты... Чтобы произвести на свет „свое” общество, государство порождает лагерь.

Введение паспортной системы на пороге 30-х годов тоже дало изряд-

ное пополнение лагерям. Как Петр I упрощал строение народа, прометая все желобки и пазы между сословиями, так действовала и наша социалистическая паспортная система: она выметала именно промежуточных насекомых, она настигла хитрую, бездомную и ни к чему не приставленную часть населения. Да поперву и ошибались люди много с теми паспортами, – и непрописанные, и не выписанные подгребались на Архипелаг, хоть на годок.<sup>5</sup>

### **Советские начальники, еще одно усилие – и вы станете республиканцами!**

Двадцатый век повторяет великое заточение восемнадцатого века. В эпоху Петра I по всей Западной Европе укрепляются новые национальные государства. Централизованные, бюрократизированные, они выделяются из феодальной анархии и заимствуют у буржуазии ее систему ценностей и идею порядка. Эти новые государства утверждают, что могут разрешить все общественные проблемы, и для достижения этой цели уже почти два века применяют отборнейшее средство: заточение. Пауперизм становится вопросом общественного порядка; государство ставит себя на место церкви, централизует выдачу пособий, приступает к административному оформлению благотворительности. Это приводит к „заточению бедняков” (Ришелье) и к советам Кольбера старшинам Оксера: „Вашим главным делом должно быть изыскание способов запереть бедняков и найти им занятие”... Больница для бедных, дом, где они прядут (**прядильный дом**), или строгают (**строгальный дом**), или работают (**работный дом**): новая Европа покрывается густой сетью исправительно-заточительных учреждений. Общество вычищают из всех сил: „Известно, что 18-й век породил громадные места заключения; но мало кто знает, что через несколько месяцев в них оказался каждый сотый парижанин”.<sup>6</sup>

Благодаря современным методам, в России эта пропорция к 1939 г. вырастет до пяти процентов.

Претензия „управлять” таким образом жизнью подданных

распространяется не только на бедных: государство хочет „привести в порядок” общество в целом и нападает на всех, кого считает „распущенными”:

Таким образом, в институты абсолютной монархии – те самые институты, которые долгое время оставались символами ее произвола – проникает великая буржуазная, а в недалеком будущем республиканская идея, гласящая, что добродетель тоже является делом государства.<sup>7</sup>

Итак, надо запереть тех, кто в глазах государства не является добродетельными: распутников, философов, протестантов. На более глубоком уровне, недостатком добродетели объясняется несчастье: бедняк беден, ибо не покоряется, безумец безумен, ибо порочен. Все „распущенные” сознательно саботируют нравственный миропорядок и дело государства; Великий век, как и советская Россия, преследует их за эту **объективную** вину. Безработный, бродяга-крестьянин, непочтительный поэт, шизофреник, еретик – все они повинны в одном и том же: в оскорблении Разума, в оскорблении Государства. Их заточают из государственных соображений.

Венец нового Разума – больница для бедных, предвосхищающая концлагерь. Ее замкнутый мир призван гарантировать сегрегацию антиобщественных элементов. Там перевоспитывают; „время проходит в чередовании трудов и молитв, как в монастыре”. В советском лагере нет принудительной молитвы, зато есть „культурно-воспитательная секция”.<sup>8</sup>

В обоих случаях „борьба за установление морального общества осуществляется путем обязательной работы”.<sup>9</sup> Опубликованный в 1933 г. коллективныйopus советских юристов носит гордое название: „От тюрем – к перевоспитательным учреждениям”. Принудительный труд вызывает этическое перерождение, обуздывает страсти, воспитывает волю; он должен быть суров: „Их надо заставлять работать как можно дольше и на самых тяжелых работах...”, гово-



рится в правилах распорядка парижского исправительного дома. Горький воспевает „перековку человека” и социалистическое перерождение на страницах коллективной книги 35 советских писателей, посвященной Беломорско-Балтийскому каналу, где 100000 заключенных подвергаются „воспитанию трудом”. Мы присутствуем при рождении **социалистического реализма**, учения, ставшего тогда полно-властным хозяином советского искусства. **Акт заточения** не однозначен, „он имеет множество смыслов, политических, социальных, религиозных, экономических, моральных, которые, возможно, затрагивают некоторые основополагающие структуры всего классического мира в целом”.<sup>10</sup> Советский мир в этом как нельзя более „классичен”.

Разлив бродяг после религиозных войн или после советской Гражданской войны. Города, наводненные нищими, спасающимися от деревенской нищеты (в Великий век делят „общинное имущество”; в Англии производят огораживание; в 1930 г. коллективизация перемещает население миллионами: с 1926 по 1939 гг. советское городское население выросло с 26 миллионов до 55). Нищета не обходится без мятежей; заточение — вот ответ государства. Ответ на скрытое возмущение деревни против города, бедняка против богача: необходимо массовое „прикрепление” этих темных личностей, среди которых не отличить бродягу от бандита и нищего. Задача вполне выполнимая, определяющая мир **полиции**. Вольтер спрашивает: „Как? Вы еще не овладели тайной того, как добиться, чтобы богачи заставили работать всех бедняков? Так, значит, вы еще не дошли до первооснов полиции?”

Чтобы полиция могла решать свои задачи путем заточения, нужен дополнительный энтузиазм, полиция заточает, чтобы заставить работать:

В эпоху этого первого промышленного подъема работу еще не связывают с порождаемыми ею же проблемами; напротив, она представляется окончательным решением, непогрешимой панацеей, лекарством от всех форм отверженности и нищеты.<sup>11</sup>

В свою очередь, и русское государство на все лады распевает оды творческому труду, слагает песнопения о взлете производительных сил, романсы о рабочих-ударниках и гимны научно-технической революции. Какой голос посреди этой какофонии осмелится проявить участие к тем, кого вынуждают быть счастливыми, приговаривают к вечному блаженству? Если труд — это сущность человека, то принудить к труду — значит вернуть каждому его человеческую сущность. Разве принудительный труд не есть примирение человека с человеком? Советская литература, о этот роман о полицейских! Марксизм раскрашивает в кричащие цвета эпохи апологию труда, ведущую свое происхождение прямо от пуританской буржуазии и от кроважанных резонансов новых государств трехвековой давности: это их рационализм, „допустил это смешение наказания и лекарства, эту почти-тождественность акта карающего и лечащего”.<sup>12</sup> Именно здесь подготавливается почва для уравнивания: концентрационный лагерь = лагерь перевоспитания.

Когда товарищи Маркса принялись славословить „творческий труд человека, единственный производитель богатств”, Маркс попытался притушить их славословия:

Труд не является источником всех богатств... У буржуа есть веские основания приписывать труду эту сверхъестественную творческую силу.<sup>13</sup>

Светлые умы напускают на себя критический вид и поверяют нам тайну: марксизм функционировал как религия. Наконец-то тайна прояснилась! Они щедро добавляют: культ личности, культ техники, религия науки... Ну, и, само собой разумеется, приписывают „примитивному”, недостаточно „просвещенному” русскому народу религиозную отсталость. Извините, есть религия и религия. Религия, позволяющая советскому государству купаться в елее репрессий, — религия совершенно особая. Разумеется, ленинские зверства имеют достойных предшественников в истории России — но не со стороны крестьян, не в народной религии, мистической и

часто милосердной. Большевики увековечивают именно „современную” сторону старой России, они продолжают модернизацию страны автократическим государством, начатую Иваном Грозным и Петром Великим. Сталин этим гордился, Эйзенштейн сделал из этого официальный и незабываемый фильм. Если вы признаете эти доказательства, то сделайте из них выводы: марксистская религиозность, делающая концлагеря допустимыми, не выражает крестьянского христианства. Напротив, это „религия”, внушаемая обществу государством, характерная черта террористической вестернизации России. Это тот же дух, что побудил „просвещенную” Европу приступить к великому заточению в 18-м веке.

Кто видит в религии „первую и главную цель полиции”: примитивные русские? Вовсе нет, это сказано в **трактате о полиции** Деламара (Париж, 1738 г.). Именно наш „Великий век” делает добродетель государственным делом, к которому государство подходит со стороны заточения.

На всех этих тюрьмах нравственного исправления мог бы красоваться девиз, который Говард еще успел прочесть на воротах тюрьмы Маянс: „Если мы когда-то сумели подчинить себе диких животных, то не должно отчаиваться в возможности исправить заблуждающегося человека”. Для католической церкви, как и для протестантских стран, заточение воплощает в виде авторитарной модели миф о социальном счастье: полицейский порядок, абсолютно прозрачный для основ религии, и религия, чьи требования без всяких ограничений удовлетворяются предписаниями полиции и имеющимися в ее распоряжении методами принуждения. В этих институтах как бы делается попытка показать, что порядок может быть адекватен добродетели... В век просвещения исправительный дом является наиболее ярким символом этой „полиции”, рассматривавшей себя самое как гражданский эквивалент религии в деле создания идеального города.<sup>14</sup>

История России двадцатого века представляется сплошным громадным плагиатом, если мы согласимся увидеть за маленькими научными Версалиями опустошенность лагерей;

вокруг дачи высокопоставленного чиновника — нищету деревень; за гигантизмом московского университета — гигантские масштабы принудительного труда рабов, его воздвигнувших. С высоты этих пирамид „советского” знания на нас глядят 40 миллионов трупов. Немногие оставили в век просвещения свидетельства о страданиях и бунте отверженных; точно так же сейчас немногие осмеливаются прервать овации, встречающие непомерные „Государство — это я” русских властителей. Средства сообщения, позволяющие сосредоточить интернированных в одном месте, даваемая промышленностью возможность их экономического использования, оружие и пространство, которыми располагают „ангелы-хранители”, научность словаря — все позволяет произвести небольшую эволюцию методов заточения. Решительно, наша эпоха внесла мало нового: даже идея ссылки — не ее собственная; исправительный дом уже служил перевалочной базой для несчастных, которых захватывали во время облав и отправляли „на Острова”. Акт заточения на Архипелаг — акт классический, акт, восстанавливающий иерархию в отношениях между городом и деревней, между богатыми и бедными, между управляющими и управляемыми, между теми, кто организует труд, и теми, кто его отбывает.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мишель Фуко: *История безумия*, стр. 448.
2. *Там же*.
3. А. Солженицын: *Архипелаг ГУЛag*. Т. 1. Впрочем, Ленин и сам, как позднее Сталин, ссылается на великого царя (май 1918 г. *Сочинения Ленина*, т. 27): „... Поскольку революция в Германии не спешит с возникновением, наша задача – учиться у государственного капитализма немцев, изо всех сил пытаться его усвоить, не жалея диктаторских методов, насаждать его в России быстрее, чем Петр I насаждал западные нравы в старой варварской России, не отступая перед применением варварских методов против варварства”.
4. А. Солженицын: *Архипелаг ГУЛag*. Т. 1, стр. 54.
5. *Там же*, стр. 65-66.
6. М. Фуко: *там же*, стр. 59. Ср. также Ж.-П. Гюиттон: *Общество и бедняки в Европе*.
7. М. Фуко: *там же*, стр. 86.
8. См. „Музы в ГУЛаге”, *Архипелаг ГУЛag*. Т. 2.
9. Гюиттон: *там же*, стр. 133.
10. М. Фуко: *там же*, стр. 64.
11. *Там же*, стр. 82.
12. *Там же*, стр. 100.
13. *Критика Готской программы*.
14. М. Фуко: *там же*, стр. 90.

## Глава 3

### Политическая экономия принудительного труда

(небольшая работа в форме звезды на соискание Ленинской премии за взаимопонимание между народами)

„В реальной истории верх всегда одерживало завоевание, порабощение, захватническая война, грубая сила; в ханжеских учебниках политической экономии, напротив, выходит, что везде и во все времена царила идиллия. Послушать их, так, за исключением текущего года, никогда не существовало иных способов обогащения, кроме труда и юридического права. На деле же методы первоначального накопления могут быть какими угодно, но только не идиллическими”.

К. Маркс, *Капитал*, книга 1, том 3

Вопрос рентабельности принудительного труда в целом решается отрицательно как нашими, так и западными специалистами. Вслед за Марксом все признают, что в наше время рабство является устарелой формой экономики, поскольку рабский труд менее **производителен**, чем труд свободного рабочего, даже учитывая возрастающие потребности последнего. Согласно Марксу, анахронический характер секторов рабской экономики, включенных в экономику буржуазную, является одной из главных причин отмены рабства в США сто лет назад. Положение в советских лагерях исключает этот тип пережитка (даже писатель „социалистического реализма” не сможет переложить *Хижину дяди Тома* в „Колымский барак”). Таким образом, вынесенное Марксом общее суждение о неэкономичности рабства с еще большим основанием приложимо к советскому принудительному тру-

ду, и, похоже, нам придется подписаться под мнением товарища Солженицына: если политически и социально существование лагерей оправдано, то экономически — ни в коей мере. „Не только не самоокупается Архипелаг, но приходится стране еще дорого доплачивать за удовольствие его иметь”.<sup>1</sup>

## Экономическая проблема „социализма в СССР”

Содержание лагерей обходится дороже, чем приносимые ими прибыли. В первую очередь, причина этого, как показал Маркс —

несознательность заключенных, нерадивость этих тупых рабов. Не только не дожدهшься от них социалистической самоотверженности, но даже не выказывают они простого капиталистического прилежания. Только и смотрят они, как развалить обувь — и не идти на работу; как испортить лебедку, свернуть колесо, сломать лопату, утопить ведро — чтоб только повод был посидеть-покурить. Все, что лагерники делают для родного государства — откровенная и высшая халтура.<sup>2</sup>

Отсюда вытекает вторая причина раздувания себестоимости: такое нежелание требует усиления надзора. „И так приходится государству на каждого работающего туземца содержать хоть по одному надсмотрщику (а у надсмотрщика — семья!)”.<sup>3</sup> Добавьте к этому, что лагерь — мир более замкнутый, чем обычное предприятие, что хозяева каждой единицы норовят превратить ее в предприятие замкнутого цикла, работающее для их персональной выгоды.

О портняжной, скорняжной, переплетной, столярной и других подобных мастерских тут даже упоминать не будем, это пустяки. Кенгирский хоздвор имел свою литейку, свою слесарную мастерскую, и даже — как раз в середине 20-го века — кустарно изготовил свой сверлильный и точильный станки!<sup>4</sup>

Лагеря выгодны для тех, кто ими правит; отощавшие, мрущие как мухи рабы позволяют надзирающим за ними паразитам жиреть и получать удовольствие, но на уровне страны баланс оказывается отрицательным; для экономики в целом система лагерей – тяжкое бремя.

Приведенный анализ основывается на неоспоримых фактах, однако грешит серьезными теоретическими неточностями. Что такое, в сущности, „рентабельность”? Рентабельность для кого? Где? Как? Разве не показывает более углубленный анализ нашей экономики, что лагеря были – а в меньшей степени и остались – рентабельными? Товарищ Сталин разъяснил нам, что „рентабельность” следует рассматривать „не с точки зрения отдельных предприятий или отраслей производства и не в рамках одного года, но с точки зрения экономики страны в целом и в масштабах, например, десяти – пятнадцати лет”.<sup>5</sup> Пусть товарищей, предающихся составлению раздутых счетов, вдохновят эти гениальные слова. На рентабельность принудительного труда нельзя смотреть глазами лавочника, нужно брать всю экономику в целом, как всегда поступал товарищ Сталин, не заботясь о мелочах.

Глубина этой мысли заключается не в намеке на временную шкалу: если бы лагеря окупались не через год, а через пятнадцать лет, все бы это давно уже поняли. Напротив, легко показать, что они были и остаются необходимостью, если исходить из **всей экономики в целом**. И тут я, как мне кажется, открыл, что имел в виду наш бывший Вождь (разумеется, он не говорит прямо о лагерях, но кто осмелится утверждать, что он никогда не задавал себе этого вопроса?) Именно этот скромный вклад в нашу бессмертную теорию и оправдывает мои нынешние притязания на Ленинскую премию (и на прилагаемую к ней дачу – если можно, на лесистом холме, с деревянным балконом и гаражом. Если бы можно было к тому же выдать мне путевку в дом отдыха на Черноморском побережье, ввиду усталости, вызванной проделанной умственной работой...).

Скажем ясно: есть рентабельность внутри нашей эконо-



мической системы и рентабельность самого существования этой системы. Внутри системы лагеря нерентабельны (по сравнению с другими, более выгодными капиталовложениями). Но если взять систему **в целом**, то обнаружится, что без этих лагерей системы бы не существовало, и таким образом лагеря оказываются рентабельными. Чтобы построить систему и сохранить ее, мы вынуждены идти на расходы, которые внутри системы представляются неоправданными. Разве нацизм был бы вписан в счета немецкого крупного капитала в качестве разумного капиталовложения, если бы не был ему жизненно необходим? Чтобы не проявить близорукости, следует спросить себя не о том, рентабельны ли лагеря экономически, но о том, не являются ли они одним из условий самого существования нашей экономики. А наша экономика всегда рентабельна, поскольку она нас кормит.

Товарищи, ссылающиеся на тексты Маркса о рабстве, допускают ошибку. Маркс действительно трактовал нашу проблему... но в другом месте, а именно — в 8-м разделе книги 1 *Капитала*: в разделе о **первоначальном накоплении**. Именно отсюда берет свое начало лейтмотив, бесконечно повторяющийся в работах наших товарищей в 1917 г.: „Сила есть акушерка всякого старого общества, мучающегося родами, сила есть экономический фактор”. А концентрационный лагерь? Разве он не является экономическим фактором? И разве не открывает он некоторого нового взгляда на экономическое целое, фактором которого является?

## **Возвращение назад**

„Секрет первоначального накопления” гениально раскрыт Марксом. Маркс исходил из тайны классической политической экономии: откуда берет первые капиталы первый капиталист? Политическая экономия ясно показывала, что капитал, функционируя в качестве капитала, порождает новый, больший капитал. Но откуда берется начальный капитал?

Чтобы выйти из заколдованного круга, экономисты до Маркса воображали некую „идиллию”: когда-то на заре истории якобы существовали люди бережливые и транжиры, те, кто копит, и „дырявые руки”; первые заставили вторых работать: „Послушать их... так никогда не существовало иных способов обогащения, чем работа и юридическое право”.

Идилличность эту истории придает то, что она всегда ограничивается „официальными отношениями между капиталистом и наемным рабочим”, „отношениями чисто меркантильными”, завязывающимися благодаря „контракту”. Экономические дискуссии в России двадцатых годов вращались вокруг того же самого вопроса: где взять капиталы для индустриализации страны? Они парили в тех же заоблачных высях: разговор шел о ножницах цен на продукты города и деревни („теория ножниц”), о возможности восстановления равновесия, о необходимости его нарушений, о государстве, гарантирующем пролетарскую сторону этого контракта. Крупный спор между Преображенским и Бухариным ограничивался весьма официальной почвой финансирования накопления: они спорили о налогах, о промышленных и сельскохозяйственных ценах. О дикости и зверстве обсуждаемых социальных отношений никто не говорил, они подразумевались.

Во избежание возврата к старым спорам 20-х годов, достаточно выдвинуть уравнение Маркса: „первоначальное накопление, **иначе говоря**, экспроприация трудящихся...” Это „иначе говоря” ни один из старых большевиков не осмеливается не то что вслух произнести, но и про себя подумать... пока, растерянный и ошеломленный, не столкнется с ним в русской действительности 30-х годов. Прикрепление к термину „первоначальное накопление” эпитета „социалистическое” позволяет Преображенскому забыть член уравнения: **экспроприацию**. Бухарин отдает себе отчет в том, что, строго говоря, речь идет о социалистической экспроприации, но предпочитает критиковать Преображенского. *Requiescat in pace.*

Вернемся к басне о трудящемся, который делает сбережения и становится капиталистом. Она отчасти даже смущает: ведь если трудящийся остается простым рабочим, значит он лентяй. Таким образом, с самого начала предполагается существование двух лагерей: с одной стороны, элита, люди трудолюбивые, умные, а главное, хозяйственные; с другой стороны – куча мошенников, предающихся пирушкам с утра до вечера и с вечера до утра. Само собой разумеется, первые копят сокровища за сокровищами, тогда как вторые скоро оказываются без копейки (иронический комментарий Маркса). Конечно, пролетарские вожди не могли подхватить такого разделения... поэтому лишь ошибкой можно объяснить публикацию в *Правде* 17-го декабря 1919 г. 24-х тезисов второго человека в партии – Троцкого – по вопросу об организации труда. Они открываются двумя хорошо известными истинами первых буржуазных мыслителей:

1. Кто не работает, тот не ест.
2. Человек по природе своей пытается избежать работы. Усердие не свойственно ему от рождения.

Первая аксиома излагает принцип советского государства, вторая – основную задачу этого государства. Картина готова: бездельник-рабочий, спекулянт-крестьянин, саботажник-инженер – все они осаждают увенчанное добродетелями государство, которое призвано засадить этот высший свет за работу и экономить за всех.

Отсюда следует, что оно экономит **на** всех. Скажем со всей отчетливостью, товарищи: перед нами „экономическое” оправдание принудительного труда. Однако оправдание это „идиллично”, поверхностно, иллюзорно. Ленин, Троцкий („О милитаризации профсоюзов” в работе *Коммунизм и терроризм*) и Бухарин оправдывают таким образом принудительный труд (в период „военного коммунизма”). Но, товарищи, мы ведь с вами теоретики, мы привыкли выискивать глубокие причины решений наших вождей. Сказать, что подданные не вкладывают душу в работу – вздор, недо-

статочный для понимания места лагерей в нашей экономике.

Найдя скрытые мотивы склонностей нашего Центрального Комитета с 1918 г., я заслужил, полагаю, Ленинскую премию, дачу, путевку в дом отдыха и — страшно сказать — поездку за границу?...

## **О различении главного и второстепенного**

Наш Советский Союз освобождает человека и открывает лагерь. Эти два акта составляют одно. Орел: „Таким образом, историческое движение, превращающее производителей в наемных рабочих, изображается как их освобождение от крепостной зависимости и от цеховой иерархии”. Решка: экономически значимы те революции, которые, „лишая широкие массы традиционных способов производства и средств к существованию, выбрасывают их на рынок труда и превращают в пролетариев, не имеющих ни кола, ни двора. Однако в основе всей этой эволюции лежит экспроприация земледельцев” (Маркс).

Орел: дневные манифесты и манифестации; решка: ночные аресты. Орел и решка: две стороны первоначального накопления 20-го века.

Таким образом, история лагерей есть прежде всего история „освобождения” русского крестьянина. Взгляните на поток миллионов раскулаченных крестьян, стекающихся в 1930 г. на Архипелаг: „Он не имел ничего сравнимого с собой во всей истории России. Это было народное переселение, этническая катастрофа”.<sup>6</sup> В какой-то мере сравнима с ним экспроприация свободного крестьянина (огораживание) в Англии и, в течение двух веков, во всей Западной Европе. Говоря это, мы не имеем намерения оскорбить нашу партию, которая сумела соединить „русский революционный энтузиазм с американской деловитостью” (Сталин) и за несколько лет урегулировала проблему, на решение которой в других странах потребовались века. Была в этом своя дурная сторона: 15 миллионов вероятных мертвецов (голод,

лагеря, избиения), но была и хорошая: 20 миллионов освобожденных (от собственной земли) крестьян, теснящихся у ворот новых заводов. И еще 20 миллионов, которые деревня высвободила для города между 1950 и 1960 гг. Маркс писал, что буржуазная Англия, экспроприировав крестьян, „дала промышленности послушные руки неимущего пролетариата”. Благодаря своей теории, мы назвали это изгнание земледельцев „коллективизацией”; исход из деревень стал „маршем к социализму”, и мы доказали миру, что эти неимущие пролетарии являются подлинными „диктаторами” в нашей стране.

Мы „догнали и перегнали” первоначальное накопление, описанное Марксом. Наши деревни являются резервуарами рабочей силы для городов; более того, мы сумели превратить крестьян в пролетариев (что подтверждает тезис нашего Центрального Комитета: у нас диктаторы – все). Что пишет Амальрик в *Нежеланном путешествии в Сибирь*?

Вообще, я думаю, это такой народ, из которого можно веревки вить. (...) Так что для подъема сельского хозяйства можно смело экспериментировать: повышать заработную плату и понижать, разрешать единоличный скот и запрещать. Однако, по-моему, только один эксперимент будет иметь успех: если создадут работника, который сам к себе будет относиться с уважением и не позволит над собой всякие шутки шутить, тогда он и работать будет как следует.

Пока что в колхозах существует, по сути дела, принудительный труд и колхозники находятся в совершенно бесправном положении. Так, они не имеют права уйти из колхоза иначе как в другой колхоз, их паспорта находятся в конторе, и на руки они их не получают. (...) Для молодежи есть только две возможности вырваться из колхоза – это не вернуться домой после армии, что большинство и делает, или пойти учиться.<sup>7</sup>

Не надо пугаться определения „тот, который позволяет над собой всякие шутки шутить”. Оно показывает, что Амальрик хорошо видит, но неверно мыслит: он не превращает своего **видения** в теорию, сказал бы знаменитый друг-марксист из парижской Нормальной школы. Если бы

у него была теоретическая жилка, он бы написал вместо „тот, который позволяет над собой всякие шутки шутить” слово „пролетарий”. Наши крестьяне были **пролетаризированы**: наши колхозы не только имеют тенденцию к превращению в заводы, как указывал Сталин — на уровне социалистических отношений они делают это заранее. Разделение на решение и выполнение, на плановое руководство и сдельную работу (за „палочки”, за трудодни и т. д.) показывает, что то, что Амальрик шельмует как „тот, который позволяет над собой всякие шутки шутить”, на уровне теоретической истины есть приобщение отсталого (по определению) крестьянина к высшему достоинству передового (по определению) советского рабочего.

### **Свобода есть осознанная необходимость**

Амальрик отмечает значение „паспорта” в организации колхозной экономики: без паспорта нет колхозника! Великая дата — 27 декабря 1932 г., когда наше правительство запрещает кому бы то ни было передвигаться по СССР без паспорта. Наличие паспорта проверяет каждый работодатель, а сверх того, участковый милиционер, поездная и автодорожная милиция: надзор за рабочей силой, за жильем и т.д. Два года раньше наша *Энциклопедия* еще утверждала: „Паспортная система есть главный метод работы полиции в так называемых **полицейских** государствах...” Однако эта, явно руководствовавшаяся дурными образцами энциклопедия утверждала еще и что концентрационные лагеря являются отличительным признаком реакционных фашистских режимов (а это уже означало чернить нашу партию, у которой к тому времени были собственные Соловки). За два года наши руководители произвели целую теоретическую революцию, вероятно, вдохновившись словами Маркса. Этот последний показал, что „свиные законы о бродяжничестве” сопровождают первоначальное накопление; что „отцы нынешнего поколения рабочего класса на-

казывались за то, что их довели до положения бедняков и бродяг” (Маркс, *там же*). Термины изменились, мы уже не говорим „свирепые”, а говорим „социалистические”; что касается паспорта, то он был и остается „сезамом-откройся” нашей полиции, краеугольным камнем нашего законодательства. Понятно, почему такие идеологически невыдержанные товарищи как Солженицын считают, что мы вернулись к Петру Великому.

В противоположность простакам, Маркс никогда не говорил, что буржуазия начала свое царствование с введения свободной циркуляции людей и идей. Она применяла другие, но не менее суровые методы:

Некоторые из этих методов основываются на применении грубой силы, но все без исключения эксплуатируют власть государства, концентрированную и организованную силу общества, чтобы ускорить стремительный переход от феодальной экономической системы к капиталистической и сократить переходный период (Маркс).

Располагая техникой 20-го века, мы сократили еще больше при помощи могучих средств: полиции, лагерей, паспортов. А налоги! Нашей надлежащим образом „коллективизированной” деревне пришлось узнать, какая важная роль отводится налоговой системе в „капитализации богатств и экспроприации масс”. Маркс говорит о Кольбере как Солженицын — о Петре и его последователях!

Если введение паспортов означало освобождение мужика, то введение трудовой книжки приобщило рабочего к осуществлению своей диктатуры. Этот новогодний подарок к 1938 году надо предъявлять при устройстве на работу, в нем записываются сведения о занимавшихся прежде должностях, о наказаниях, поощрениях, причинах ухода и т. д. В июне 1940 г. появляется указ, гласящий: лица, уходящие с работы „по собственному желанию”, подлежат отправке в лагерь, опоздание на работу более чем на двадцать минут приравнивается к прогулу, а первый прогул наказывается исправительными работами на месте с удержанием 25% заработной платы. Результат десятилетних усилий:

начиная с 1930 г., драконовские указы регламентируют прием на работу, наказывают „дезертиров”, „туристов”, „летунов”, которые имели наглость поменять место работы; в июле 1932 г. отменяется указ 37 трудового законодательства 1922 г., согласно которому ни одного рабочего нельзя перевести на другое предприятие без его согласия. Это венеч множества кампаний по мобилизации пролетариата: в 1931 г. — против уравниловки (и вскоре ножницы заработной платы вырастут от 1 до 40); за отбор рабочих-ударников, за экономию времени, за социалистическое соревнование по перевыполнению норм, и т. д. Вершина этих народных завоеваний, высшая стадия, идеал верного служаки — стахановец, человек, который взрывает потолок производительности и подает необходимый пример в желаемом направлении выравнивания общих норм.

Трудовая книжка венчает собой длительную историю захвата „трудового процесса” рабочего. Маркс совершенно правильно поясняет, что в начале индустриализации („кооперация”, мануфактуры) капитал управляет трудом извне, „формально”: 100 собранных вместе рабочих равны всего лишь одному изолированному рабочему, помноженному на 100. Затем наступает черед специализации, дробления, разделения рабочих, подчинения их „младшим служащим” (надсмотрщикам, инспекторам, мастерам), которые в свою очередь подчиняются „высшим служащим” (директорам, управляющим), и т. д.

Капитал внутренне, „материально” подчиняет себе трудовой процесс. Наша молодая советская власть смело пошла по пути, начертанному ее предшественниками: по пути авторитета, иерархичности, разделения, постоянной угрозы (уже не увольнения — безработица уничтожена — а ссылки). Для этой цели пускаются в ход все средства, а социалистическая этикетка снимает возможность возмущения.

## **Лагерная власть плюс электрификация**

У нас было три скрижали законов: паспорт, трудовая



книжка и *Капитал*. Разве могли бы мы непоколебимо воздвигнуть нашу экономику на „приоритете тяжелой промышленности”, если бы не сделали соответствующего вывода из второго тома *Капитала*? Неважно, что другие — китайцы — считают этот вывод ошибочным. Главное — не понимать, что имел в виду Маркс, а понимать, что сделали мы сами. Прикрываясь авторитетом Маркса, мы обрели в России то, что составляло величие старой Англии, Англии первоначального накопления и королевы Виктории, Англии крестьянина, умиравшего с голода на дорогах, и рабочего, спустя сто лет подыхающего от нищеты на работе. Из английского примера мы вывели закон ускоренного развития сектора 1 (производство средств производства, станков...) за счет максимального торможения развития сектора 2 (производство товаров широкого потребления, удовлетворение материальных потребностей трудящихся). Товарищ Солженицын умышленно прикидывается изумленным:

В день, когда СССР, трубно гремя, запустил в небо первый искусственный спутник, — против моего окна в Рязани две пары вольных женщин, одетых в грязные эковские бушлаты и ватные брюки, носили раствор на четвертый этаж носилками.<sup>8</sup>

Все товарищи должны бы знать, что здесь вступает в силу фундаментальный закон нашей экономики, что без него мы бы не были Англией 20-го века; что без него наши руководящие товарищи не могли бы разъезжать по свету с большим почетом, пышностью и помпой, чем королева Виктория — тогда как алкоголизм и отчаяние нашего народа „догнали и перегнали” рекорды английского пролетариата 19-го века.

Этот приоритет тяжелой промышленности повлек за собой катастрофическое падение реальной заработной платы рабочих (их покупательная способность к 1930 г. упала вдвое; уровня 1927 г. мы достигли только в 1953 г.). Отсюда протесты — и новые потоки людей на Архипелаг. Этот приоритет в еще большей степени питается „богатствами” деревень; отсюда вспышки голода 30-х годов, отсюда бунты — и новые потоки на Архипелаг.

## Секреты инфраструктуры

Теперь, наконец, соберем все эти факты воедино и объявим миру Приятную Новость, нетленное знание, которым мы обогатили экономическую науку: **мы открыли новый вид производственных отношений.**

Мы берем термин „производственные отношения” в его обычном понимании: речь идет о базовых связях, возникающих между людьми в процессе производства товаров; эти связи выступают как „отношения между группами субъектов и способов производства”, например, между рабочим и конвейерной линией. В своей глубинной реальности это отношения субъектов между собой, социально-классовые отношения, и т. д. Вообще отношения, связывающие и противопоставляющие друг другу людей в сфере производства, „являются вовсе не случайными, а социально детерминированными и социально воспроизводимыми”. Для более подробного изложения этих положений см. Беттельгейма.<sup>9</sup> Здесь же достаточно привести следующие точные данные: что освобождает крестьянина от земли, перемещает сельское население в направлении новых комбинатов, связывает рабочего со станком под управлением тройной иерархии (технической, административной, полицейской)? ТЕРРОР! Так разве не следует включить этот террор в число факторов, определяющих наши производственные отношения?

Разумеется, Маркс уже наметил это открытие. Роль государственного насилия в первоначальном накоплении, перманентная роль насилия со стороны хозяев и полиции в организации труда на заводах — все предвещает нашу экономическую бомбу: **террор как вид производственных отношений.**

Завистливые товарищи попытаются подкопаться под мою Ленинскую премию и скажут, что это вовсе не основополагающее открытие: чуть больше насилия или чуть меньше... В одном отношении они правы: мы верны Марксу. Мы создали в СССР экономику, которую он анализирует в *Капитале*. Мы старались как можно точнее подражать английской

индустриализации 18-20 веков. Однако эти товарищи грешат излишней скромностью: благодаря нашей верности экономической модели, описанной Марксом, мы можем задним числом углубить его анализ и четко выявить роль терроризма как формы производственных отношений.

Применим строго научный метод зависимых переменных: если мы чего-то переложили, значит, чего-то другого не доложили. Никакой тайны здесь нет: просто мы тяготеем к замене рвача на стукача. Замена эта далеко не полная (кстати, если бы размер Ленинской премии увеличить...), однако одно ясно: для изгнания крестьянина, для прикрепления рабочего к станку и для троекратного народного ура, встречающего каждое повышение цен, пенитенциарные законы и положения сделали больше, чем меры финансового характера. **Закон замены рвача на стукача** объясняет некоторые своеобразные аспекты нашей экономики. Маркс не мог предвидеть, в каких гигантских масштабах мы его применим, поэтому относительно слабо представлял себе роль террора как формы производственных отношений.

Теперь можно дать первый ответ на вопрос о рентабельности нашей карательной системы. Рассматривая нашу экономику „в ее целостности”, мы обнаружили, что террор является формой производственных отношений и что его следует учитывать как одно из условий существования нашей экономики. Пусть лагеря ей дорого обходятся, — зато они окупаются тем, что обуславливают ее существование, являясь главным орудием пролетаризации крестьянства, дисциплинирования рабочего и иерархического расслоения всего общества в целом. Но это лишь половина ответа.

**„СССР: пример полной гармонии производственных отношений и производительных сил” (Сталин)**

Наша история позволяет нам сделать второй вклад в теоретическую науку. Известно, что марксистский термин „производительные силы” довольно туманен; обычно глав-

ной производительной силой считаются люди; иногда под производительными силами понимают также организацию труда, технические новшества и т. д. Какова бы ни была выбранная терминология, трудно отрицать, что концентрация широких масс людей, занимающихся материальным производительным трудом, составляет производительную силу. Наши концентрационные лагеря являются новой производительной силой, которой Маркс совершенно не предвидел (он, который ограничивает рабство колониями...)

Попытаемся подробно проанализировать включение лагерей в экономику. **Что мы видим?** Прежде всего — клеветнический характер обвинения в нерентабельности. Местами лагеря были необходимы и тем самым рентабельны. Они ввели своеобразные методы решения проблем, с которыми ранее столкнулись капиталистические страны; и наши результаты оказались не хуже их. Вот пример: золотая лихорадка. Никто кроме Ленина не удовольствовался наивным желанием облицовывать этим драгоценным металлом общественные уборные. Государство накапливало золото дважды: один раз благодаря полиции, другой раз — лагерям. Сначала золото извлекали из недр русского общества; это было дело стукача и полиции; здесь довольно было дубасить по голове: чем больше дубасишь, тем труднее было ускользнуть укрывателю золота.<sup>10</sup> Затем наступил черед извлечения золота из недр русской земли; Колыма со своими золотыми рудниками — это советский Клондайк. Открытие месторождений золота в ледяной пустыне привело нас в замешательство. Другие страны воззвали бы к личной (и корыстной) инициативе: классический случай — золотоискатели на Аляске и в Калифорнии; либо пришлось бы вести эксплуатацию жил ультра-современными методами, что требует гигантских капиталовложений. Мы сумели избежать обоих этих подводных камней благодаря своей новой производительной силе: золотоискателями стали заключенные, материальными средствами — лагеря, непрерывно пополняемые. Человеческий материал изнашивается в тысячу раз быстрее машин, но его легче заменить. В том же районе были обнаружены

другие залежи (свинцовые, не менее смертоносные). Всеми этими закованными в кандалы производительными силами управлял ГУЛаг: Дальстрой царил на территории, в шесть раз превышающей по размеру Францию!

Мы оказались способны разрешить классические проблемы капитализма, ибо добивались равных результатов самобытными методами. Взгляните, какие задачи возлагаются на заключенных: добыча нефти, радия и пр., стройки (почти все крупные промышленные комбинаты были выстроены заключенными), каналы (Беломорско-Балтийский, Волго-Донской), железные дороги в пустынях и областях вечной мерзлоты, и т. п.<sup>11</sup> Чтобы завершить такие грандиозные стройки, классический капитализм применял рабов (колониальные железные дороги) или низкооплачиваемых рабочих (эмигрантов, крестьян). Когда оба эти „решения” оказались слишком сложными, он вложил деньги в создание гигантских машин. Таким образом, лагеря заменяют колониальную рабочую силу, низкооплачиваемых чернокожих и крупные капиталовложения: ну чем не производительная сила, весьма полезная для нашей экономики? Принудительный труд применялся во всех тех отраслях, где можно было обойтись без дорогостоящих современных машин. Таково наше второе грандиозное нововведение в области политической экономии. Мы показали, что принудительный труд не только воздвигает древние пирамиды, но и прекрасно уживается с современной гармоничной экономикой. (Неужели мне не дадут Ленинской премии за формулировку этого второго открытия?)

Практический опыт рентабельности лагерей у нас уже давно был:

Следует выбирать виды деятельности, требующие массовых усилий, как лучше всего отвечающие целям трудового перевоспитания: важные промышленные стройки (заводы, плотины, дамбы, доменные печи, железные дороги и т. д.), ирригационные сооружения и автодорожное строительство, ускоряющее механизацию страны.<sup>12</sup>

Сравните только богатство практического опыта, стоящего за этими строчками, и крайнюю расплывчатость теоретической формулировки: вместо „виды деятельности, требующие массовых усилий” наука говорит „**процесс производства, обычно требующий крупных затрат основного капитала**”. Заметьте к тому же, что упоминаемые промышленные стройки относятся в основном к сектору I (производство средств производства) и что сам термин „трудовое перевоспитание” маскирует наше великое открытие №2 – существование человеческих капиталовложений, при которых переменный капитал сводится до минимума – выражаемое ясным и строго научным термином: **производительная сила лагерей**.

Советское правительство непременно должно опубликовать грандиозные открытия, сделанные нами в области политической экономии. Это поможет устранить некоторое недопонимание в зарубежных кругах. Нашим критикам я покажу сибирских фермеров, донских и кубанских казаков, украинских и белорусских крестьян, строящих новый порт Магадан и открывающих золотые рудники Колымы. Вспомните, дорогие эксперты, своих обнищавших крестьян прошлого, своих колониальных рабов, своих каторжников, свои экспортируемые „эбеновые леса”, своих детей на бумагопрядильнях и своих силикозных больных; сложите вместе все несчастные случаи за несколько сотен лет, добавьте к ним всех голодающих в моменты кризисов: нам просто удалось все это сконденсировать, собрать воедино всю эту пропащую плоть на пространстве нескольких десятилетий и поставить ее – пусть на краткий миг – на службу производству.

### **Законы диалектического преобразования кошки в кошку**

Некоторые товарищи будут спорить с моим анализом. Прошу Центральный Комитет рассматривать их возражения

как инспирированные внешним и внутренним врагом (который стремится задушить все, чем могла бы гордиться наша великая советская наука!). Меня будут коварно упрекать в том, что я отождествляю задачи советской экономики с задачами классической экономики капитализма, не провожу достаточно четкой демаркационной линии между нашей социалистической системой и системой, которую критиковал Маркс. Это неправда, я ее провожу, но одновременно отбиваю мяч в лагерь оппонентов: пусть скажут, где проходит эта демаркационная линия, кто ее проводит. И сам же отвечу: такую линию может провести только наш мудрый Центральный Комитет, никому другому не дано отличить наш социализм от их капитализма. Считать, что я путаю две системы — значит обвинять меня в неуважении к мудрым постановлениям нашего Центрального Комитета — и это в ту минуту, когда я смиренно прошу его о Ленинской премии! Поистине, доводы моих товарищеско-противников — змея, кусающая собственный хвост.

Может быть, они полагают, что знают другой способ различения капитализма и социализма, помимо решений Центрального Комитета? Мне бы не хотелось напоминать этим самонадеянным товарищам о печальной истории Преображенского, который притянул на то, что может дать определение „социалистического” первоначального накопления. Бухарин ответил ему, что первоначальное накопление — всегда дело кровавое, а Сталин доказал справедливость этого теоретического замечания на практике. Следует ли из этого вслед за Бухариным делать вывод, что в нашей стране о первоначальном накоплении говорить не приходится? Это лишь значит, что мы останемся такими же слепцами, как он.

Или, может быть, мне запретят всякое сравнение с капиталистическим накоплением из-за того, что наша коллективная собственность противопоставляется капиталистической частной собственности? На это я отвечу:

1. Не всякая капиталистическая собственность — по определению частная: попробуйте-ка съездить во Францию и объяснить рабочему завода Рено, что он не подпадает под

действие капиталистических производственных отношений, так как его единственный хозяин — государство!

2. Государственная собственность на все — это еще не социализм. Прочтите у Маркса и Энгельса: „Сделать государство собственником производительных сил — это не решение конфликта (между социальным характером производительных сил и частной собственностью), но это обеспечивает формальное средство, рукоятку, за которую можно ухватить решение (*Анти-Дюринг*)”. Товарищам, не ведающим, что за рукоятку могут ухватиться разные руки и что поворачивать ее можно в разных направлениях, Энгельс напоминает, что с точки зрения капиталистической концентрации государство представляется „идеальным коллективным капиталистом”. Мои оппоненты не забывают о том, что государство играет все большую роль в организации производства в странах классического капитализма. Возмутятся ли они, исходя из этого, утверждать, что эти страны строят социализм? Мои оппоненты ловко увильивают от трудностей, путем отождествления „государственной собственности”, плановой экономики и социализма, но это идет вразрез с опытом всех и каждого в 20-м веке, а также с теорией Маркса и Энгельса.

Ушедший от нас товарищ Сталин объяснял: „В настоящий момент у нас существует два основных вида социалистической продукции: государственная, т. е. всенародная, и колхозная...” (*Проблемы социализма в СССР*). Не будем останавливаться на колхозах, которые единственные — как он утверждал — „располагают своей продукцией как своей собственностью”: это слишком пессимистично, если учесть преданность, выражаемую **дарами** наших крестьян государству. Товарищ Сталин с отличающей его гениальной теоретической краткостью подчеркивает: продукция государственная, „т. е. всенародная”. Именно сути этого „то есть” и не могут ухватить мои оппоненты.

Нужно ли это понимать так, что всякая государственная собственность есть собственность народная, а следовательно, социалистическая? Сталин прекрасно знал классиков марксизма и такой грубой ошибки совершить не мог. Он по-



нимал, что если собственником средств производства является государство, то, чтобы можно было говорить о социалистической собственности, народ должен быть „собственником” государства. Он знал, что капиталистические производственные отношения основываются на отчуждении рабочего от средств производства: отчуждении, которое все вновь воспроизводится классом собственников, получающим от этого прибыль (устранение личной собственности не подразумевает автоматического уничтожения собственности этого класса, который легко может стать государственной буржуазией — недаром Ленин в конце жизни задумывался над этой проблемой).

Таким образом, единственная интерпретация, которая воздаст должное ушедшему от нас вождю — моя. Когда он говорит „государственная, то есть всенародная”, то **есть** означает **ибо я так говорю**. Я = Центральный Комитет. Поэтому я повторяю свою просьбу относительно Ленинской премии, дачи, отдыха на Черноморском побережье и поездки за границу. Не будем лишать мировую науку нашего вклада — четырех великих истин:

1. использование террора как вида производственных отношений;

2. изобретение лагеря как современной производительной силы;

3. первенство тяжелой (или военной, или космической) промышленности над всем, что удовлетворяет „стихийные” потребности населения;

4. решения нашего Центрального Комитета как единственный критерий различения социалистического и капиталистического.

P.S. Умоляю ЦК ускорить процедуру присуждения Ленинской премии. Умоляю не из личной корысти, а из патриотизма: вдруг какой-нибудь немецкий исследователь мошеннически припишет честь этих открытий гитлеровскому режиму! Разумеется, нацисты при нужде терроризировали немецких рабочих тенью концлагеря. Равным образом, им иногда удавалось рентабельно использовать труд заключенных. Но

они просто копировали нас, коверкая наши методы своим отсутствием диалектики, биологическим догматизмом и неуместным духом реваншизма. Приписывать им величайшие экономические открытия века было бы непростительно. Нас окружает враждебность, немцы по-прежнему гипнотируют Запад, поэтому необходимо не ставить между мной и Ленинской премией никаких бюрократических препон. Речь идет об упрочении нашего созидательного строительства!

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Солженицын: *Архипелаг ГУЛag*. Т. 2, стр. 573.
2. *Там же*, стр. 569.
3. *Там же*.
4. *Там же*, стр. 574.
5. *Экономические проблемы социализма в СССР*. 1952.
6. А. Солженицын: *там же*. Т. 1, стр. 66.
7. Андрей Амальрик: *Нежеланное путешествие в Сибирь*. Нью-Йорк, 1970, стр. 166-167.
8. А. Солженицын: *там же*. Т. 2, глава 22.
9. Шарль Беттельгейм: *Экономический расчет и формы собственности*, стр. 122.
10. А. Солженицын: *там же*. Т. 1, стр. 64-65.
11. *Там же*. Т. 2, „Мы строим”.
12. *Советская юстиция*. 1934, № 15.



## Глава 4

### Революция методом уподобления

„Какими бы их ни показывала вам история – красивыми или безобразными, в кашошоне Марсея или в куртке Жака, вы не можете их не узнать. Среди всех битв знати, среди красивых состязаний на копьях, которыми развлекается беспечный Фруассар, мы попытаемся высмотреть этих бедных простолюдинов. Мы увидим их в самой гуще боя, под шпорами дворян, под ногами лошадей. Мы выведем их – такими как есть, грязными, обезображенными – на суд истории и справедливости, и скажем им: Вы мой отец, а вы – моя мать. Вы зачинали меня в слезах... Так да будет вам земля пухом. Боже меня упаси когда-нибудь от вас отречься!”

Ж. Мишле, *История Франции*, книга 6

Здесь нет никакой тайны. Непонятно только наше непонимание. Случившееся в России было написано открытым текстом и до того как случилось, и во время, и всегда, как предвосхищение или воспоминание. Доказательство? В 1960 г. все остервенело набрасываются на писателя, умершего несколько десятков лет назад, на еврея, затерявшегося в чешской столице австро-венгерской провинции. Уж не имел ли в виду этот подданный старика Франца-Иосифа (вступившего на престол в 1848 г.) „нового мира”? Уж не клеветал ли он на „коммунистического человека”, который „гордо” появляется через пятьдесят лет после октября 1917 г.? Альтернатива такова: либо Кафка проявил более чем гениальное предвидение будущего (чтобы устроить

диверсию нового „мира производства”, надо знать, куда подложить динамит), либо „светлое” будущее не так ново, как говорят.

„Сжигать ли Кафку”? — вот главная тема литературных и философских дискуссий, ведущихся в Восточной Европе начиная с 1960 г. А вскоре те, кто навязал цензурное запрещение, пускают в ход танки. Недолгие читатели Кафки превращаются в мятежников, некоторые доходят до того, что превращают себя в живые факелы. Ни в самом этом зрелище, ни в том, как мы его видим, нет ничего радикально нового. Плебс в упор смотрит на сокрушающую его власть: от замены лошадей танками Кафка актуальности не теряет. Зажигательные бомбы, кидаемые — к сожалению, нечасто — в „социалистических освободителей”, получают имя Молотова. „Молотовские коктейли” — это отдает кафкианским юмором.

Россия — это наша история, наше прошлое, отчасти наше настоящее, тень, нависающая над нашим будущим. Внезапно мы отказываемся понимать, не хотим видеть ее так близко, отдаляем при помощи науки и теории. Она видится нам соседом, на которого валятся все несчастья; это тот же мир, но хуже; там заточают, давят, эксплуатируют, частная собственность маскируется, она не совсем индивидуальна, совладельцы спорят за места в партийной иерархии, национальные и социальные проблемы решаются пулеметом.

Читая репортаж оттуда, каждый все поймет, исходя из собственного опыта. Если, конечно, не откажется видеть этот слишком близкий ужас. Свидетель не вызывает доверия: он был рабочим, но поднялся до высокопоставленного чиновника — значит, он не представляет русского рабочего класса! Это голос марксистов; „объективисты” же подчеркивают сходство его рассказов с рассказами спасшихся из нацистских лагерей — значит, он все списал! (Кто, свидетель или русский политический строй?) Они продолжают настаивать: если любой американский читатель понимает, о чем пишет Кравченко, это доказывает, что такое лже-свидетельство мог написать только американец (из ЦРУ):

ведь СССР – другой, социалистический мир, неправда ли?

Добавьте сюда еще антисоветчика, горящегося капитализмом: это происходит не у нас! (Да нет же, немножко и у нас, вот почему каждый может это понять, спросите бабушку, которая ребенком работала на прядильной фабрике, или дедушку, который приехал к нам на шахты „жалким полячишкой”. Вообразите, чем можно дополнить это „немножко”). И по сей день мемуары Кравченко не стали основополагающим документом, необходимым для понимания Советского Союза и марксизма 20-го века. Все мы хотим знать, о чем беседовал Никсон со своими подручными, а не о чем думает молодой шахтер в революционной России. В СССР дела „Уотергейт” не будет, русские руководители сумели даже прочно дискредитировать немалую часть французской интеллигенции, позвав ее „свидетельствовать” (!) против Кравченко и других русских заключенных (беглых) ... на процессе, слушавшемся в Париже через три года после Сопротивления.

Для простого смертного не существует теоретических и политических сложностей; он все понимает „наивно”. Ему достаточно что-то вспомнить (в связи с Кафкой), заметить (например, то, о чем пишет Кравченко), предчувствовать (как Оруэлл, бывший бродяга, бывший доброволец в республиканской Испании, в книге 1984). Прошрое, настоящее, будущее... Россия обращается прямо к нам, как к получающей стороне в этом старом европейском опыте: мучайте плебс, пока он не подыметя, а элита пусть умашается вместо ароматов Аравии тайнами теории.

Единственная загадка – это духовная слепота людей, чья профессия – думать. Когда директор предприятия вступает в должность в России 1936 года, его предупреждают: „Виктор Андреевич, ты едешь на Урал впервые; тебе придется привыкнуть к тому, что там повсюду заключенные”. Невольно спрашиваешь себя, как мог бы он их не увидеть.

В других районах России удавалось замалчивать эти болезненные вопросы; но здесь, у нас, действительность была слишком близко

и слишком бросалась в глаза... Тебе самым естественным образом говорили: „Езжайте рыбачить на реку Чусовую, примерно в километре от колонии НКВД, там много рыбы”. Или: „Поезжайте по этой дороге и сразу после концлагеря поворачивайте направо”.

Наш газовый завод работал на торфе, поставлявшемся главком „Уралторф”... Торф добывали и прессовали тысячи заключенных обоего пола в свердловской области... Я тщательно избегал лагерей принудительного труда, так как вид их выбивал меня из колеи на много недель. Я всегда боялся встретить там кого-нибудь, кого знал и любил, так как жертвами „сверхчистки” стали сотни моих друзей. Однажды, гуляя с коллегой, мы забрели на мрачное болото, где работало около трехсот заключенных, в основном женщины. Все эти несчастные были неопишимо грязны и причудливейше одеты; многие из них стояли по колено в грязной воде. Сцена эта была поистине дантовской; я не мог избавиться от нее долгие месяцы: само слово „торф” вызывало у меня содрогание...<sup>1</sup>

Однако в целом советская элита содрогается молча, ничего не видит, ничего не понимает, и когда в свой черед бьют по ней, изумляется. Арестованный в 1937 г. член Центрального Комитета генерал Якир обращается к Сталину с протестом, заявляя о своей невинности:

Я верный солдат, преданный партии, государству, народу... Вся моя сознательная жизнь прошла в честном, самоотверженном труде на глазах у партии и ее руководителей. Я честен в каждом своем слове. Я умру со словами любви к Вам, к партии и к стране, полный непоколебимой веры в победу коммунизма”. На этом письме Сталин написал: „Негодяй и проститутка”. Ворошилов добавил: „Совершенно точное определение”. Молотов поставил рядом свою подпись. Наконец, Каганович подытожил: „Предателю, сволочи и ... (следует неприличное слово) – одно наказание: смерть”.<sup>2</sup>

Заверения расстреливаемых вождей в любви к вождю расстреливающему не были даже лицемерием. Акт заточения не виден соучастнику-заточаемому. Идеологические акции Великих не понижаются, даже когда они сами начинают страдать от того, от чего заставляли страдать других. Мы живем в 20-м веке, в глазах простых людей заточение уже давно

перестало быть стихийным бедствием. В 17-м веке „безрас- судство” можно было изобразить как эпидемическое заболе- вание, что-то вроде проказы или чумы. Чингиз-Хан когда-то воспринимался как бич Божий. Здесь же перед нами люди, заточающие других людей. Чтобы народ это принял, его надо воспитать, демократизировать слепоту элиты; итак, вперед, к перековке индивидуума! Научиться не видеть, не слышать, не чувствовать – вот руководящие идеи новой педагогики, которые Оруэлл точно резюмирует в трех лозунгах, трех вбиваемых в голову гвоздях:

**СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО**

**МИР – ЭТО ВОЙНА**

**НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА**

Такова диалектика, товарищ Якир, как ты, наверное, говорил, когда на твоих глазах вырезали целые деревни (коллективизировать = терроризировать коллективы?) во имя всенародного блага...

Превращение ночи арестов в день парадов и праздников, гримировка детских слез под улыбки, обращенные в бу- дущее, распинание настоящего, чтобы расцветали красные розы разума – как могла зараза такой диалектики про- никнуть в русский народ? Как удалось его затопить лице- мерными заявлениями, алиби, квипрокво, двуличностями и тройными подбородками двурушных хозяев мысли, получающих в сорок раз больше рабочего?

## **Народ всегда неправ**

Мы спрашиваем себя: как удалось навязать русскому народу эту систему господства, которая, возникнув через двести пятьдесят лет после Людовика XIV и Кольбера, на сто лет позже королевы Виктории, перевела СССР на рельсы централизации, урбанизации, индустриализации любой це- ной? Вопрос этот несложен. Он усложняется, если считать это господство „социалистическим, за исключением не- скольких ошибок”. Тогда власть, превращающая людей



в мучеников, становится „властью народа, за исключением нескольких ошибок”. Тогда ошибки эти, убившие 50 миллионов человек (а сколько душ?), становятся практически ошибками народа. Разумеется, руководители отвечают за свои ошибки, согласны, но ведь и народ отвечает за своих руководителей, или, иначе говоря: руководители несут ответственность перед народом, выражающим себя в своих руководителях. Предполагается, что между русским государством и русским народом существует связь, что они приспособлены друг к другу, что они не воюют между собой (Боже праведный!), что они зеркально отражают друг друга: ошибки социалистического государства олицетворяют отсталость русских масс. Таков был тезис Ленина; таким остается тезис ленинистов, даже тех, которые сами себя считают оппозиционерами.

У западных левых вошло в привычку искать утешения от „реакционера Солженицына” у „прогрессиста” Медведева.<sup>3</sup> Когда-то считалось, что навязывать народу преступления власть имущих — отличительная черта реакционной мысли... Мы все это изменили! Предполагать, что государство с народом связывают отношения насилия, крови, войны — вот что слывет нынче „критикой справа”! Наши благочестивые марксисты на это ответят: нужно делать различие между государством капиталистическим и социалистическим; при капитализме государство угнетает народ, при социализме оно народ выражает. Перечитайте предыдущую фразу: какой она дышит теоретической набожностью! Мы видим на опыте угнетение (ощутимое для народа), но, с другой стороны, нам известно, что такое социалистический и капиталистический строй; следовательно, если строй социалистический, заранее известно, что при нем нет угнетения, нет войны между государством и народом. Государство выражает... угнетение народа им же самим!

*Задача:* абсолютная и кровавая власть. „Сталин имел власть, какой никогда до него не имел ни один русский царь — и ни один диктатор за тысячу лет”.<sup>4</sup>

*Ленинская гипотеза:* Николай, не мешало бы России стать социалистической.

*Окончательное объяснение:* „Если Сталина поддерживало большинство советских людей, то не только потому, что он ловко их обманывал, но и потому, что при их отсталости им было легко обмануться”.<sup>5</sup>

Вглядимся попристальнее: разумеется, Сталин делал все не в одиночку, но **кто был настолько отсталым**, что усердно ему помогал?

Каждый раз, когда речь идет об отсталости народа, марксизм приводит стройный ряд аргументов: пережитки царизма, экономическая отсталость, глубинное давление некультурных, как всем известно, мужиков. Медведев громоздит эти кремовые пирожные штабелями одно на другое (образец: стр. 477-478). Их уже смаковали во время „культурной революции” по Ленину; она требовала от государства и партии обучения „отсталых масс”, чтобы те впоследствии могли, в свою очередь, обучать государство и партию. На деле же, когда Медведев проводит перепись социальных слоев, которые были обмануты Сталиным (и обманывались вместе с ним), ему так и не удается обнаружить эти пресловутые „отсталые массы”.

Мужик? Он в расчет не принимается:

Религия не была обезглавлена, поэтому трудно рассматривать веру в Сталина как следствие неудовлетворенности религиозного чувства крестьян. Кроме того, культ Сталина двигался не из деревни в город, а из города в деревню. Он родился в 30-е годы, когда только что коллективизированные деревни находились в крайне трудном положении.<sup>6</sup> /О, в каких изящных выражениях говорит об этих преступлениях ленинист!/  
/

Тогда, может быть, рабочий? Рабочий класс, поредевший от Гражданской войны, состоял из только что переехавших в город крестьян. Таким образом, мы опять возвращаемся к вопросу о мужике. Однако тут будьте осторожны:

В 30-е годы культ Сталина больше всего разросся именно среди

рабочих, особенно в слоях, примыкавших к партии, и среди интеллигенции нового поколения, особенно тех ее членов, которые были рабочего и крестьянского происхождения.<sup>7</sup>

В капиталистическом обществе это звучало бы так: передовик = член партии = карьерист = активист боевого подразделения. Дело почти так и обстоит:

В основе культа личности... лежало мелкобуржуазное бюрократическое вырождение некоторых ответственных работников и массовое включение в аппарат мелкобуржуазных и карьеристских элементов. Сталин был не просто диктатором, он царил над целой системой мелких диктаторов.<sup>8</sup>

Короче говоря, отсталость, о которой идет речь, нужно относить не за счет мужика или рабочего, а за счет нового начальства, „мелких диктаторов”, которых Медведев, изо всех сил старающийся спасти социалистический характер СССР, никогда не рассматривает как государственную буржуазию. За культом Сталина (до него и после него) нетрудно разглядеть культ партии. Но идет ли эта вонь из мужицкого хлева? Разве не сталкиваешься с ней в Авгиевых конюшнях западных партий („рабочих”, а как же иначе)?

Послушайте только этот **обезоруживающий** идиотизм: „Партия готова была смело выступить против какой угодно внешней опасности, но была практически бессильна перед любой внутренней. В течение длительного периода /он оптимист, наш ленинец-диссидент!/ она была безоружна перед лицом нападений со стороны собственных руководителей”.<sup>9</sup> Как это типично для крестьянской Руси! Вы этого никогда не встретите у немецких социалистов эпохи до 14 года, у западных коммунистов, даже в разных наших группках... Читайте дальше: „Ни один или почти ни один /вот это да!/ коммунист не знал в то время (1930-1945) объема преступлений и не сознавал их опасности”.<sup>10</sup> Эта отсталость, не позволяющая **осознать** опасности преступлений государства, нареченного „социалистическим”, откуда она? От русских масс в целом? А может, от очень определенного

социального слоя, вооруженного этими идеологическими оправданиями и кровью утверждающего свою власть над массами, которые он же сам и окрестил „отсталыми“?

Каждый раз когда Медведев ограничивается точным изложением исторических фактов, он показывает этот слой как основу власти государства. Как только он принимается теоретизировать, ленинизировать, начинаются объяснения, что народ и государство составляют Одно, что отсталость первого порождает преступления второго. Порождает, разумеется, „диалектически“, что позволяет громоздить недомолвку на недомолвку и страницу на страницу. Получилась книга специально для западных левых, эталон „прогрессивной критики“ СССР, ибо в ней ясно излагаются истинные воззрения левых: народ любит, чтобы его били, крестьянин — дерьмо, да и рабочие немногим лучше.

В ошибке повинны все и никто. Она слегка затрагивает вождя, она проникает в гущу масс; гони ее в дверь — она влетит в окно. Теория еще молода, неискушена, ветренна, легкокрыла; народ в нее влюблен. Россия являет собой идиллию. Неужели же если осмелиться влезть в этот марксистский будуар в лаптях и предположить, что вопрос о власти ставится в русском обществе не только в терминах любовной ссоры, значит, ты реакционер? Неужели если ты думаешь, что права и обязанности тех, кто властвует, и тех, над кем властвуют, распределены неравно, то ты „правый“? Неужели если ты предположишь, что вина за гнусный лик нынешнего русского государства лежит не на отсталости управляемых масс, а на диктатуре правящего слоя, значит, ты вульгарен?

„Отсталые массы было легко обмануть“. Давайте весело согласимся: да, они **сами себя** обманывали; при посредстве Сталина, они сами себя отправляли гнить в лагеря, сами себя подчиняли паспортной системе, сами себе навязали трудовые книжки, сами себя пытали. Таким путем мы остаемся в рамках социалистического строя (диктатуры пролетариата, т. е. народной). Говорят же вам, Сталин „был вынужден выдерживаться от полного ниспровержения социалистических

принципов”<sup>11</sup>: действительно, в вопросах языка Сталин был очень консервативен! Но вот что происходит, когда власть берет **отсталый** народ: он открывает лагеря, и каждый отправляет туда своих близких, а затем и самого себя. Проклятые мужики! Наши марксисты-оппозиционеры, которые не сомневаются в социалистическом характере русского государства и довольствуются критикой его ошибок, вынуждены прийти к выводу: в этом народе сосредоточено все слабоумие мира.

Не то что этот чертов „реакционер” Солженицын, подчеркивающий: „В массе своей, народ **совершенно непричастен** к официальной лжи, и это сегодня его отличительная черта”.<sup>12</sup>

Одно уточнение: „Всякий, кто живет в нашей стране, платит дань всеобщезательной идеологической лжи. Но среди рабочих, а тем более среди крестьян, эта дань невысока”.<sup>13</sup> (Напротив, среди „образованщины” дань, выплачиваемая „работниками умственного труда”, огромна.)

Но вам же говорят: Медведев прогрессист, а Солженицын — реакционер; первый считает главной причиной того, что сегодняшняя Россия тонет в дерьме, отсталость народа, второй противопоставляет владык владычествуемым, привилегированных — бесстепенным, богатых — бедным!

„По ошибке” — простейшее объяснение семейной ссоры. У русского государства с обществом не идет и речи о разводе; ошибка с обеих сторон, — добавляют даже пылкие ленинисты. Недоразумения между толпой мелких диктаторов и Корифеем, заговоры в трех первых актах, преступление в четвертом, вмешательство примирителя Господина Верноподданного — в последнем; вся эта суматоха затрагивает лишь крохотную частицу русского общества, а именно — власть имущих, обеспеченных, „руководящие кадры”.

Подчиненные тем временем, наоборот, уже давно в разводе. Крестьянство само собой, все свидетельства на этот счет сходятся. Старые рабочие, затопленные потоком официальной пропаганды, себе на уме и очень рано начинают относиться ко всему весьма сдержанно. Надежда Мандельштам, сосланная в провинцию во время террора 35-го года, находит приют в рабочей семье:

... В рабочих семьях в то суровое время разговаривали гораздо более прямо и открыто, чем в интеллигентских. После московских недомолвок и судорожных оправданий террора мы терялись, слыша беспощадные слова наших хозяев.

Татьяна Васильевна не без гордости объясняла: „Мы потомственные пролетарии”. Она помнила политических агитаторов, которых ей приходилось в царские времена прятать у себя в доме: „говорили одно, а что вышло!” К процессам оба относились с полным осуждением: „Нашим именем какие дела творятся”, – говорил хозяин, с отвращением отбрасывая газету. „Заморочили вам голову нашим классом, а пойдя, сунься – покажут тебе твой класс...” Я изложила старикам теорию о том, что классами руководят партии, а партиями вожди. „Удобно”, – сказал старик... У обоих было понятие пролетарской совести, от которого они не желали отказываться.<sup>14</sup>

Надежда рассказывает о рабочей солидарности на заводе, где она работала, когда ее едва не арестовали. Кравченко повествует об аналогичных чувствах своих престарелых родителей, рабочих с многолетним стажем. Складывать эти свидетельства недостаточно, их все еще слишком мало. Ни опросы, ни референдумы не могут „объективно” показать нам душевного состояния рабочего класса в момент начала террора. Забастовки? Их множество до 1930 г., после этого их запрещают и сурово подавляют. Перекуры, халтура, незаинтересованность становятся постоянным явлением, единственным видом самовыражения, не считая пьянства (под прикрытием „поддачи” можно немного поворчать; „он свой”, – скажет начальство, которому и самому не чуждо ни пьянство, ни озлобленность).

Вольно вам рисовать в воображении творческий дух и социалистический энтузиазм рабочего класса, который трудится, устремив взгляд к радужным горизонтам массовых ссылок. Оказавшись свидетелями того, как их начальники переходят на сторону репрессирующих или исчезают, как их зарплата уменьшается вдвое, а свободы сводятся к нулю, рабочие, конечно, могли лишь от всего сердца поддержать „новый курс”. В ошибках государства повинна их отсталость; Сталин, партия – это они; неправда ли, дорогие

толкователи-марксисты? Придет день, когда ваши теории перестанут судить по тому, насколько они соответствуют какому-то марксистскому канону (вами же изобретенному), когда их прочтут буквально и обнаружат, какое в них выражено замечательное представление о рабочем, о простом человеке! Ваш марксизм — не что иное как наука презирать: именно в этом своем качестве она изменила облик если не всего мира, то России. Однако удалось ей это не без труда. Надежда, ставшая женой заключенного, рассказывает о том, что между приговорами трибуналов и простыми сердцами был некий зазор:

В своих странствиях я сталкивалась с разным народом, и всюду мне было легче, чем среди тех, кто считался цветом советской интеллигенции. Впрочем, они тоже не жаждали моего общества... Поезда были добрее людей Москвы, и в них всегда догадывались, что я за птица, хотя была весна и козух я успела продать.<sup>15</sup>

## **Педагогика чистки**

С одной стороны, мелкие и крупные диктаторы, с другой — плебеи-крестьяне. Бросьте роман собственного сочинения об общих ошибках и об общей (!) власти — и перед вами приоткроется громадность происходящего на наших глазах в середине 20-го века. Не только варварская ненависть к крестьянству, пережитая Западной Европой триста лет назад, но и систематическое подчинение и оупление рабочего класса со стойкими революционными традициями. „Мы единственная страна в мире, покончившая с рабочим движением!” — восклицала юная, не занимавшаяся политикой Надежда. Позднее тот же подвиг совершили и другие страны; их называют фашистскими.

Последовательные чистки не были ошибкой, их переход одна в другую совпадал с этапами взятия власти, с этапами закабаления общества. Капля по капле:

Аресты катились по улицам и домам эпидемией! Как люди передают друг другу эпидемическую заразу, о том не зная — рукопожатием, дыханием, встречей на улице они передавали друг другу заразу неминуемого ареста. Ибо если завтра тебе суждено признаться, что ты сколачивал подпольную группу для отравления городского водопровода, а сегодня я пожал тебе руку на улице — значит, я обречен тоже.

Семь лет перед этим город смотрел, как избивали деревню и находил это естественным. Теперь деревня могла бы посмотреть, как избивают город — но она была слишком темна для того, да и саму-то ее добивали.<sup>16</sup>

Подробности за подробностями: в семьях уязвимое место — ребенок; его учат в школе доносить. На заводах золотая жила — противоречия в недрах иерархии, конкуренция между специалистами; используется и скрытое возмущение низов, и спесь верхушки. Такая неукоснительность и систематичность отменяют всякое сравнение с кострами, на которые фанатики посылали русских еретиков в 16-м веке. Не в обиду будь сказано Медведеву, который в своем ответе на том второй *Архипелага ГУЛлаг* с легкостью отождествляет эпохи расцвета религиозного обскурантизма с этим терпеливым и обдуманым разрушением целого общества. Впрочем, вот прекрасный случай применить знаменитый диалектический закон о переходе количества в качество! Эпидемии костров недостаточно для преобразования социальных структур. У инквизиции дело обстоит немного лучше, это хорошее антиарабское и антипротестантское орудие в руках имперских властей Рима и Испании. Они тоже завоеватели. В России громадные волны арестов и ссылок очищают общество от „всякой нечисти“, разносящей беспорядок, пролетарируют деревню, закабаляют пролетариат, дисциплинируют начальство: они фиксируют структуру современной России, это решающий, переломный момент, „трещина в нашей истории” — говоря словами *Архипелага*.

Государство — вовсе не результат отсталости масс: оно эту отсталость порождает. Алчное и кровавое, оно разрушает всякую оппозицию, существующую и воображаемую, чтобы



заставить себя принять. Оно сразу и скопом вводит все истязания и пытки, которыми западная буржуазия обеспечивала поступление человеческого сырья для промышленности. При помощи марксизма рвется все, что связывает русских между собой: их прошлое, их сердца, их нравы и обычаи. Государство и партия становятся единственными посредниками в любых отношениях человека с человеком. Это царство закона, который крестьянин из *Круга первого* называет „людоедским“, закона, когда-то прямо выраженного молодой буржуазией в поговорке „Человек человеку волк“ (Гоббс). Партия, лицемерная в своем цинизме, ограничивается предписанием, согласно которому гражданин гражданину — шпион. В потоке чисток отношения между людьми становятся отношениями между вещами: „Сегодня человек говорит свободно только по ночам, укрывшись с головой одеялом“ (Исаак Бабель). В основе советской индустриализации, как и в основе западной, лежит раздробление общества.

Запереть рабочего на заводе, крестьянина в деревне, интеллектуала — в иерархии, заключенного — в лагере уничтожения, наконец, каждого — в самом себе:

Никто больше не осмеливался поделиться с друзьями своими сомнениями в официальной истине. Обыкновенный гражданин не имел никакой возможности узнать, насколько принимают ложь другие. Каждый стал изолированным островком... (Эренбург)

Эра всеобщей подозрительности необходима для перековки человека. Уже „Великое заточение“ 17-го века призвано было воспитывать массы, вынудить каждого отбросить в себе самое то, что наказуемо заточением (страсти, беспорядочность, вольномыслие, и одновременно нищету, „безумие“, распутство). Все население страны отливается в форму рассудительного, упорядоченного, эгоистичного, буржуазного индивидуума. Законом той же педагогики повинуется и русское интернирование: каждый должен себя охранять от всякой потенциально оппозиционной склонности

(„самокритика”) и, уже сделавшись прозрачным, представлять пред полицейские очи („критика”).

И это — в наше время! Рабочий класс, вовсе не отсталый, называет партийное начальство „новыми барами” (Кравченко) или новой буржуазией. пытки действуют плохо. Голод и нищета не воспринимаются как нечто естественное. Мы никогда не поймем природы и смысла процессов и чисток, если будем обвинять в них одинокое безумие Сталина или тупость масс. Чистки изо всех сил пытаются раздавить глухое, невысказанное, но постоянно присутствующее сопротивление плебейских масс. В России, как и в нацистской Германии, лагеря оказываются вернейшим средством захватить власть над потенциально враждебным населением.

О чем ведется речь на открытых процессах 30-х годов? „Когда покупатель приходит в магазин, чтобы купить товар, его обсчитывают, обвешивают и обмеривают”. Вредительство, организованное сетью министров — друзей Бухарина, специалистов-плановиков! После серии аналогичных признаний прокурор заключает:

В нашей стране, богатой всевозможными ресурсами, никаких продуктов не хватать не может... Теперь мы знаем... почему, несмотря на изобилие продуктов, вдруг исчезал то один, то другой продукт питания. Вина за это лежит именно на этих предателях. (Вышинский, март 1938 г.)

Лишения, обнищание, анархия на производстве — во время процессов перечисляются все беды населения; отсюда массовая вера в предъявляемые обвинения (пусть даже подробности хромают): обвинители переадресовывают мятежные чувства, бушующие в низах. На большом комбинате политическая полиция заставляет осудить на общем собрании директора Брашко:

— Гнать его! — крикнул кто-то из зала, и остальные хором подхватили: „Давно пора! Долой вредителей!” Самые злобные враги Брашко, как я замечаю — рабочие, живущие в бараках; а ведь они ничего

не знают о работе и поведении директора нашего крупного комбината, в котором они лишь ничтожные винтики. Они просто выражают свое личное недовольство и без риска для себя вымещают собственную злобу на личности самого высокого начальника. Они забывают, что зарплата, цены и жилищные условия рабочих устанавливаются московскими властями.

Поднимается работница, искренность которой не вызывает сомнений: — Товарищи, — заявляет она, — я работаю на никопольском металлургическом комбинате. Теперь я, наконец, понимаю, почему мы живем в такой бедности, почему для нас, рабочих, не строят домов, почему у нас не хватает приличной одежды. Брашко и им подобные живут роскошно, нищета пролетариата их не трогает. Долой вредителей! Довольно они над нами издевались!

Ее искренность, ее волнение вызывают громкие аплодисменты и крики одобрения.<sup>17</sup>

Прием не нов: козел отпущения. Прием этот действует не автоматически. Оправдать страну и режим, сфокусировать недовольство на специально отобранных вредителях — это лишь первый шаг. Нужно добиться того, чтобы каждый гражданин подавлял собственное недовольство. Делается это полицейскими мерами: сказать, что в СССР не хватает некоторых продовольственных продуктов, или что обувь там низкого качества — значит, заниматься антисоветской агитацией (58-я статья Уголовного кодекса: 5 — 10 лет). Эти низменные полицейские методы обставляются возвышенной идеологией: то, о чем люди могли бы шептаться, должно быть высказано публично, раз навсегда, и окончательно „устранено”. На деле, поскольку марксизм всегда изобличал злодеяния капитализма, у среднего человека нет недостатка в словах для изображения своих несчастий (по словам Амальрика, в 1965 г. в партии был большой переполох: необходимо было вызвать бурное одобрение мудрого правительственного решения предоставить милиционерам резиновые дубинки. Заковыка состояла в том, что вышеуказанный инструмент много десятилетий символизировал в официальных карикатурах злодейство американского полисмена).

Итак, заходит речь о возможности установления капита-

лизма в России; идея, которую не осмеливались высказать наши теоретики-ленинисты, начинает обсуждаться публично. Отныне о веревке в доме говорить можно, повешенные будут: „Восстановить капитализм и власть буржуазии” (обвинительное заключение по делу Пятакова, автора первых пятилетних планов). Происходит немыслимое для марксизма-ленинизма: „реставрация” капитализма сверху, через посредство советского государства с его привилегированными чиновниками и кровавыми расправами. Сила Сталина в том, что он осмелился сказать то, что думали все (кроме теоретиков); он показал России зеркало, в котором она себя узнала, и тут же разбил это зеркало вдребезги выстрелами спецотрядов. Образ капиталистической России был погребен вместе с мертвецами.

„Для меня столь же невозможно считать Сталина вульгарным, сколь видеть в Троцком убийцу”. Так Бернард Шоу сохранил статус английского социалиста, – правда, в ущерб юмору: ему не надо было выбирать. Советское государство обязывает своих подданных (как и некоторых чужих) делать выбор. Либо соратники Ленина виновны, либо обвинители сами совершили преступления, в которых упрекают других. „Альтернатива превосходила воображение”, – комментирует спустя 50 лет австрийский марксист Фишер. Чье воображение?

Грандиозная театральная постановка процессов позволяет представить непредставимое, подумать немыслимое. „Социалистическая Россия обнаруживает, что ей угрожал капитализм; еще немного – один начальник вместо другого, в каждом из нас лишнее уклонение с пути – и готово. Этот процесс дает наконец слово бунтарям и показывает, к чему ведет бунт... (к шпионству, к убийствам), кого вовлекает в свои сети (высочайших лиц режима!) Тонкое замещение: бунт запускается на орбиту в сферах Высокой Политики (тот, кто против Сталина, объективно участвует в заговоре вражеских сил; неважно, правда это или нет: бунт замыкается в этих сферах, превращаясь в занятие Великих; народ к этому космическому действию не допускается). Мнимый конфликт вождей (завершенный подлинными смертями)

симулирует истинный конфликт, отныне для плебса недостижимый.

Обычно полиция работает тихо. Необходимым исключением являются открытые процессы: тут людям показывают монстров. Оппонент деградирует до стадии животного: видя превращение своих бывших начальников в „ядовитых гадов”, ужаснувшийся чиновник осознает опасность всякого уклонения. Наклонившись над пропастью, он обнаруживает виновного, заблуждающегося, еретика. Он подозревает наличие такого еретика в себе самом и сам, из осторожности или по убеждению, творит над собой суд. В его голове происходит заседание Центрального комитета, возвышает голос прокурор. У него начинает кружиться голова, он старается удержаться на линии партии и сам себя урезонирует, по образцу предка — западного буржуа:

Во Франции поездка в Бисетр и созерцание знаменитых безумцев до самой Революции остается одним из воскресных развлечений левобережной Буржуазии.<sup>18</sup>

Уникальный постулат процессов, вбиваемый в голову, как гвоздь: **бунт есть безумие**. Перед вами парад сумасшедших, любуйтесь. Политические безумцы, безумцы от марксизма, которые уже не знают, ни в каком обществе живут, ни какие судьи их осуждают, выходят вперед и говорят: „Меня заточают правильно”; это диковинные звери, прикрывающие своими прыжками и теоретическими психозами безмолвное преступление лагерей.

Или они, или я. Они прижаты к стенке — значит, моя взяла! Наглядный показ Верховного Вождя заключается убийственным доводом: вот перед вами марксист, ставший жертвой своего социализма, образцовый узник, исповедующийся в своих пороках, мученик, целующий ноги палачей. Чиновник учится благонамеренности; народ видит, как опускается революционный занавес над этой свалкой обезьян-каннибалов.

Когда буржуазная республика купалась в крови рабочих,

автор *Интернационала* Эжен Потье написал: „Обман 48 г. и июньские преступления потрясли мое здоровье, и я двадцать лет болел невротами и кровоизлияниями в мозг”. В одну из светлых минут он сочинил песню под названием „Кто сумасшедший?” с припевом: „Кто сумасшедший – мир или я?”

Украденный язык, сведенные на нет бунты, отнятые, извращенные, уничтоженные человеческие связи; перед лицом государственных интересов все остальное – просто безумие. Русский плебс, выброшенный прямо в середину 20-го века, особенно тяжело чувствует на себе, какой участи всякая буржуазия обрекает пролетариат.

### **К вопросу об авторских правах**

Размах третьей волны чисток, начавшейся с убийства Кирова (1934), поражает до сих пор. Эта волна обрушивается на города, как предыдущая – на деревни. Ее ничто не останавливает: ни подобающее уважение к кадрам, которые „решают все” (Сталин), ни требования обороны страны. Под нее подпадают все: армия, интеллигенция, священная партия, сливки общества. Другая волна обрушивается в 1939 г., унося следующую верхушку политической полиции (Ежова, который вычистил своего предшественника Ягоду). Из 1166 делегатов съезда партии 1934 года 1108 арестованы за преступления против революции; на следующем съезде (1939) их только 55, причем 24 – члены Центрального комитета; на низших уровнях на этом съезде заседает менее 2% участников съезда 1934 года. А между тем, как напомнил Солженицын, члены партии составляют лишь очень небольшую часть жертв (между 1936 и 1938 гг. арестовано, вероятно, не меньше 5% населения. В 1939 г. в лагерях находится 10 миллионов заключенных).<sup>19</sup>

Шквал этот трудно объясним. Слабосильную оппозицию, встреченную им в ЦК, Сталин мог бы ликвидировать более простым способом, так же как и недостаточную „готовность”, усматривавшуюся им то у одного, то у другого из

руководящих кругов. Быть может, никакого объяснения и не требуется, волна набирает силу сама собой, произвольные аресты и пытки порождают произвольные доносы — и так далее, в арифметической или геометрической прогрессии; остальное зависит уже от умения палачей и от убеждаемости жертв: к концу 1938 г. по доносам арестовано 15% советских граждан... Полицейская расправа сама себя питает, кое-какого объяснения заслуживают, может быть, лишь начальный толчок да происходящие время от времени остановки.

Ошибок больше, чем можно было предвидеть... вне всякого сомнения, нам не придется больше прибегать к методу массовых чисток. Тем не менее, чистка была неизбежна и в целом дала ощутимые результаты.

Кто это говорит? Хрущев, который критикует Сталина, реабилитирует мертвых и, упоминая об ошибках, утверждает социалистический характер новой русской истории, несмотря на огрехи? Преемник Хрущева, проделывающий ту же операцию над своим предшественником? Нет. Сам Сталин, на своем победном съезде в 1939 г. (с этой трибуны „мистер К” и его преемники получили последний урок: как мыть руки в социалистическом потоке Истории).

Урок анатомии. Изучается труп Ежова, главы производителей чистки. Копаясь в его внутренностях, новая партия вдыхает исходящий от них аромат собственной законности:

Смещение Ежова было просто делом случая, ибо, за исключением его самого и его представителей (главных производителей чисток в НКВД), собственных агентов Сталина не потревожили. Шкирятов, его адъютант, был назначен главой Комиссии партийного контроля и умер своей смертью в 1954 г., через год после Сталина. Мехлис и Вышинский выжили тоже. Что же до Маленкова и его соперника Жданова, то оба они в годы, последовавшие за исчезновением Ежова, продолжали процветать.

Практически во все продолжение чистки Сталин делал все, чтобы на него нельзя было возложить ответственность за бойню. И когда термор достиг апогея, он выгодно пожертвовал человеком, выполняв-

шим его секретные приказы, человеком, который оказался тогда в глазах партии и населения главным виновником – а для некоторых остается им и по сегодняшний день.<sup>20</sup>

В 1939 г. дело было в раздвоении личности в пространстве (Сталин – Ежов), сегодня это раздвоение происходит во времени (предшественник виновен, преемник – никогда): все та же инсценировка законности, партия, отдающая приказания уголовникам.

Монарх-победитель приносит в жертву жестокого министра, подготовившего его триумф. Картина классическая, она хороша тем, что выявляет законы классицизма, управляющие чисткой в целом. Реальная оппозиция с самого начала была робка, раздроблена, легко устранима; дело не в ней. Преследованиям подвергается жена приговоренного, его дети, семья, близкие: цель – раздавить не действительное, а возможное сопротивление, саму идею сопротивления, сокрушить всех, в ком можно заподозрить ее ростки. Власть стремится к окончательной легитимизации, к утверждению раз навсегда, к беспрепятственному тысячелетнему царству.

Полиция есть прислужница власти. Только прислужница. Разделение ролей между Ежовым и Сталиным воспроизводит разделение, существующее между ночными арестами и дневными манифестациями, между секретными инструкциями и массовым образованием, между арктическим лагерем и московским метро, между общественной жизнью заточителя и частной – заточаемого. Законность власти есть законность разума, „речь без противоречия”, которая прилагается, одновременно от нее отличаясь, к „практике без комментариев” заточающей полиции. Всякие там оппозиционеры, сопротивленцы, безумцы – все они заточаются без комментариев и отрицаются без возражений: Разум в нашем „Великом Веке” и в советской России один и тот же.

К концу чистки Сталин становится узаконенным: „Поистине, биография Ленина и Сталина – это биография самого советского народа”.<sup>21</sup>



Злой дух меня не заграбастал, я мыслю, следовательно, история движется вперед; мой здравый смысл — самая обычная в мире вещь, история моей мысли отождествляется с ходом революции, ergo сверх-Декарт 20-го века существует:

Коммунистические вожди — это руководители, каких никогда еще не было, они выражают волю народа, они связаны с народом всеми своими фибрами, всяким своим действием.<sup>22</sup>

Лавры за чистку: вождь публикует свое „Рассуждение о методе”, синтез собственной биографии и биографии советского народа, миропорядка и порядка своих рассуждений, — *Историю ВКП (б)*.

Эта новая *История* была действительно необыкновенным документом, в котором без тени объяснения пересматривалась полувековая русская история. Я имею в виду не только то, что в ней фальсифицировались события и давалась новая интерпретация фактов (...) Это был роман, роман дерзкий, бесстыдный, мнимо правдоподобный. Сам этот цинизм, вызов, бросающийся здравому смыслу русского народа, придавали ему некое гротескное величие. Роль первостепенных исторических деятелей оказалась в нем совершенно искаженной или полностью обходилась молчанием. В этой книге Иосиф Сталин предстал единственным вождем, существовавшим перед Революцией, ближайшим другом и вернейшим соратником Ленина. Все книги, газетные документы, ставившие под сомнение эту фантазматическую с историческими претензиями — иначе говоря, почти все сочинения и документы, имевшие отношение к политике, — были тотчас же уничтожены по всей стране. Более того: была сделана попытка, насколько возможно, устранить живых свидетелей нашей недавней истории!<sup>23</sup>

Новая *История партии* служит проверкой: ценность (т. е. сервильность) кадров рассматривается в зависимости от приносимых ими „живых” комментариев, каждый научается „организовывать” свои воспоминания, заклинать своих демонов („уклоны”), изобличать соперников („Ага, а ты бухаринец!”). Торговая сделка с властью стабилизируется, условия ее поставляет история партии, ее живой автор зако-

нен с момента вступления в игру. Сталин позволил Бухарину составить этот клочок бумаги — Конституцию; сам он в это время писал *Историю*, роман, необходимый для упаковки трупов, акт о вступлении во владение и свидетельство законности; последний удар.

Что это было — тщеславие автора, ожесточенно старающегося убрать соперников, неприятных свидетелей и недостаточно восторженных коллег? Ловкость искусственного махинатора („Тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым, тот, кто управляет прошлым, управляет будущим” — Оруэлл)? Или что-то простое, само собой разумеющееся со стороны власти и не требующее ни особой оригинальности, ни гения? Вспомните: западные комментаторы, присутствовавшие на процессах, „маршировали” в ногу, всем скопом; американский посол Джозеф Дэвис докладывал: „Приговор, объявлявший подсудимых виновными, основывался на неоспоримых доказательствах”.<sup>24</sup> Свидетели, люди международной известности, клевали на удочку:

Чистка не достигла бы такого размаха... в особенности процессы получили бы гораздо меньший резонанс, если бы их не узаконило мнение нескольких комментаторов, которые, будучи иностранцами, считались объективными и независимыми наблюдателями.<sup>25</sup>

Игра Сталина не ослепляет новизной, все это мы уже видели, уже принимали. Ее сила — в неоригинальности.

**Закон — это то, что читается.** Утверждение это вышло не из-под пера восторженного комментатора энного издания *Истории ВКП(б)*, оно датируется 636 г. и взято из *Этимологий* Изидоры Севильской (Lex: id quod legitur). Авторитет и законность Верховного Жреца, оракула, фиксирующего законы. „Как Бог разделил и выявил элементы первичной материи, так же точно Юстиниан упорядочил беспорядок, прояснив происхождение и предмет права, в поучение ученым и во славу канонического и гражданского права”. После императора Юстиниана и его преемников-пап — наступает черед национальных государств („Верховный Жрец

– это я”): диктатура создает закон, а закон есть слово диктатуры, писание религиозного или гражданского папы. „Я думаю, это ясно”, как любил заключать свою речь Сталин.

Форма процессов не нова. При ее посредстве власти вдабливают подданным панический страх перед неблагонадежностью:

Схоластика действует не только чисто дедуктивным методом, но и более тонко, в зависимости от искусства судьи... Юридический Спор, упорядоченный до мельчайших деталей, размеченный на разделы и подразделы, является воображаемым процессом, разворачивающимся в неукоснительно строгих рамках, с вопросами и ответами, приводящими в конце концов к предварительному приговору.<sup>26</sup>

Сформированная таким образом внутренняя жизнь советского человека подчинена махинаторам от юриспруденции (науки о создании судебных дел), и „в этой игре чистой логики бунт теряется, растворяется в номенклатуре, распадается на категории ошибок...”<sup>27</sup>

Дополнять текст законов может только власть (преемники Сталина, насильственно перерабатывающие его *Историю*, показывают тем самым, что заменили его на том же жреческом посту). Круг того, что можно говорить, очерчивает государство, а подданный обязан разместиться в этом кругу; то, чего говорить нельзя, исключается. Нам говорят: Россия страна социалистическая, а лагеря... Какие лагеря? Кто сказал „лагеря”? Сказавшего партия осуждает раз и навсегда, вещь, однажды осужденная, заменяет собой истину (*res judicata pro veritate habetur*, гласит традиционное римское право).

Чистка; ее рекламная сенсация – процесс; ее ворота в царство тьмы – лагеря; это целая педагогика, которая должна помочь власти добраться до самых глубин души подданного (душа = трибунал). Нам говорят „перековка человека” – на деле же идет борьба за преемственность: советское государство укрепляется в головах, занимая место, когда-то отводившееся императору, мэтру римского права,

затем, в Средние Века – Верховному Жрецу, затем – национальным государствам, унаследовавшим от него власть. Усложняется ли преемственность, переходя из Рима в Константинополь и из Византии в Москву? Это пусть решают русские свидетели, нельзя даже с уверенностью говорить о том, что переход произошел, поскольку марксизм произвел короткое замыкание, вестернизировав Кремль.

Отныне каждый гражданин сознает значимость „нашего компаса: марксизма-ленинизма”. Намагниченная стрелка у него в мозгу указывает на север современного человека: виновность перед государством. Любой отклонившийся выпадает из нравственного миропорядка, теряет направление. Его лечат тем же нашим строгим классическим разумом, с каким нравственный миропорядок подходит к своим безумцам. Политзаключенный – это чумной (враг народа), его жена заразна; мир лагерей становится Архипелагом, миром безмолвия; разум – это значит не быть сумасшедшим; свобода – это значит не быть посаженным в тюрьму или в больницу: „Выделяется целая область, собирающая воедино все практические и теоретические методы, посредством которых безумие изобличается и подвергается устранению /теперь это не область, а эпоха, *История ВКП(б)* дает ключ к этим устранениям/; все, что в нем /в безумии... ах, простите, в уклоне, изобличающем марксистского руководителя как „мерзкую гадюку”/ близко, слишком близко к разуму /разум – это партия, партия всегда права/, все, что угрожает ему смехотворным сходством, насильственно от него отделяется и вынуждается к неукоснительному молчанию; акт заточения в больницу маскирует именно эту диалектическую опасность /я же вам говорил – это заговор!/ рационального сознания, это спасительное разделение”.<sup>28</sup>

Отец римского права распинает рабов, государство, основанное на разуме, заточает нищих, марксистское государство исторически и диалектически искореняет мужиков. Культ личности? Власть религии? Да бросьте! Просто религия власти, наука для власть имущих.

Кремлевские хозяева, с запозданием вошедшие в круг

властителей мира, вынуждены были слегка изменить классический сценарий. Им понадобилось пятьдесят лет, чтобы окончательно вдолбить в голову советскому чиновнику то, что в 18-м веке каждый буржуа знал от рождения: оппозиция есть душевное заболевание; сумасшедший, человек с отклонениями, гомосексуалист, диссидент, монах, поэт, „тунеядец”, смутьян – все это одно и то же. Единственная разница между специальным сумасшедшим домом 1960 – 1975 гг. и больницей 18-го века заключается в ученом жаргоне врачей-пытателей; заключенные в химических смиренных рубашках – все те же:

С появлением политического заключенного в спецбольнице, врачи при первом же обходе ставят его перед следующей альтернативой: или отказаться от своих убеждений, или остаться в больнице до конца дней. Староста второй секции однажды без обиняков заявил мне: „Ваша болезнь – это неконформизм”. При этом никого не удивляет, что за одинаковую политическую деятельность одни приговариваются к лагерному сроку, а другие (обвиняемые по тому же делу) – к принудительному лечению. „Ваше лечение – это четыре стены”, – говорят врачи. И это еще лучший вариант лечения.<sup>29</sup>

Так кто же Кафка: пророк? Автор *Процесса* не мог знать будущего, но советская Россия коллекционирует методы укрощения плебса, изобретенные за многие тысячелетия. Она ничего особенного не открывает, зато собирает воедино все худшее, что нам известно из области дрессировки и селекции. Потому-то она и предстает для писателя, христианина и еретика открытой книгой. Не видит в ней ничего лишь марксист, хотя иногда даже этот изысканный интеллигент, блистающий мороженой культурой, проговаривается: „будущее мира” – это прошлое.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Виктор Кравченко: *Я выбрал свободу*, стр. 402-403.
2. Роберт Конквест: *Большой террор*.
3. Рой Медведев: *Сталинизм*, изд. Сей.
4. *Там же*, стр. 405.
5. *Там же*, стр. 477.
6. *Там же*, стр. 479.
7. *Там же*.
8. *Там же*, стр. 465.
9. *Там же*, стр. 461.
10. *Там же*, стр. 426.
11. *Там же*, стр. 425.
12. „Образованщина”, в сборнике *Из-под глыб*, 1975.
13. *Там же*.
14. Н. Мандельштам: *Воспоминания*. Нью-Йорк, 1970, стр. 356.
15. *Там же*, стр. 361.
16. А. Солженицын: *Архипелаг ГУЛag*. Т. 1, стр. 86.
17. Виктор Кравченко: *там же*, стр. 354.
18. Мишель Фуко: *История безумия*, стр. 161.
19. См. Роберт Конквест: *там же*.
20. *Там же*.
21. *Новая критика*, апрель-март 1953 г., № 45. Франсис Коен, сфабриковавший этот не очень оригинальный перл и недавно ставший директором упомянутого журнала, теперь опровергает Солженицына во имя... объективности и подобающего уважения к „советскому народу”!
22. *Там же*.
23. В. Кравченко: *там же*, стр. 413.
24. Из книги *Московская командировка*.
25. Р. Конквест: *там же*.
26. П. Лежандр: *Любовь цензора*, изд. Сей.
27. *Там же*, стр. 165.
28. М. Фуко: *там же*, стр. 188.
29. В. Буковский: *Новая душевная болезнь в СССР: оппозиция*.



## Глава 5

### Речи о добровольном рабстве

Откуда взялось у него столько глаз, шпионящих за вами, если не вы ему их вручили? Откуда у него столько рук, наносящих вам удары, если не от вас самих? Эти ноги, топчущие ваши города, откуда они у него, не от вас ли? Какая у него может быть власть над вами, если не от вас самих? Как осмелился бы он на вас напасть, если бы не был с вами в сговоре? Что мог бы он вам сделать, если бы вы не были укрывателями вора, который вас грабит, соучастниками убийцы, который вас убивает, и предателями самих себя?

Этьен де ла Боеси

В „гуманных” географических очерках России, выпускаемых объективными и осведомленными университетами Запада, не найти и следа Архипелага ГУЛаг. Наши экономисты и социологи не распространяются о важной экономической и социальной роли принудительного труда в 20-м веке. Историки советской революции не пишут истории царящей в ней контрреволюции. Специалисты попадают в плен к своему предмету: советский мир живет в собственной языковой атмосфере, в пюре, в котором наблюдатель теряется — разве не идет речь о „Революции”, „Социализме”, о „Коллективной собственности”, о „Рациональном планировании”? Россию нельзя понять, не обдумывая слов, которые употребляешь; но размышлять о том, как говорить на этом языке — значит уже на нем говорить.

История слов — как история любви: манера говорить зависит от того, о чем говорят, а с другой стороны, каким



бы далеким и экзотическим ни казался предмет разговора, на самом деле он уже давно занимал наши мысли. Если для наших специалистов Архипелаг оказывается „терра инкогнита“, то только потому, что рабство — это та грань нашей культуры, о которой мы знать не хотим.

Затраты энергии, идущей в СССР на спекуляцию словами, неисчислимы. Более всех посвящает себя этому „образованщина“: новая средняя буржуазия, у которой иерархические градации и степени заменили права собственности. В акустической лаборатории *Круга первого* делаются попытки идентифицировать голоса (по образу и подобию отпечатков пальцев). Собрать заключенных филологов, физиологов и т. д. и заставлять их научным образом выделить голосовой отпечаток — да это же абсурд, хотя ни в коей мере не неправдоподобный (научно-исследовательская работа в области подслушивания телефонных разговоров — это лишь иной путь все к тому же научному и „нравственному“ прогрессу). Но установление по употребляемым словам идеологического профиля каждого гражданина уже стало в СССР высоким искусством. Этому прогрессу в области гуманитарных наук, несомненно, способствовал террор, уничтожающий всякую привычку к естественному, спонтанному сближению; закон подозрительности управляет всем, вплоть до молчания женщин-матерей заключенных, собравшихся перед тюрьмой:

... Каждая думает, что ее-то Петю взяли зря, а вот у этой и этой и этой муж — изменник родины, вредитель, шпион... Подальше от них, подальше.<sup>1</sup>

Затыкание ртов для правительства — необходимость. Рассмотрим ситуацию:

Вольнонаемные кверху ближе, в первых горизонтах, а мы в самой глубине — на девятом, десятом... У них вагонетки на электрической тяге, техника! А мы вручную откатывали. У них перфораторы, а мы кайлой рубили, по старинке. Они по шесть часов, а мы по двенадцать. Они ели, как люди, а нам хлеба четыреста в день — и все. Не выпол-

нишь норму — получишь двести, еще не выполнишь — сто... и так до нуля. Порочный круг или точнее сказать, смертельный. Чем меньше получишь, тем меньше можешь сработать, чем меньше сработашь, тем меньше получишь... Да что! Мертвецов другие ели: отрежут мышцу, сварят...<sup>2</sup>

В подобных обстоятельствах какое правительство, сознающее свои обязанности, откажется от интенсивных лингвистических изысканий? Разве не должны свободные трудящиеся спокойно съедать честно заработанный скудный обед и налегать на отбойный молоток, не задавая себе лишних вопросов о голодных с нижних ступенек общества? Ведь нужно же набить им рот, а если возможно, и голову, готовыми, легко контролируемыми оборотами, научить их не сравнивать шесть часов „передовика” с двенадцати-часовым рабочим днем „врага народа”!

Одним из важных вкладов в лингвистику следует считать вклад охранников, которые принуждают заключенных к молчанию, и вклад спускаемых на них собак. Эти последние много сделали для развития советской литературы, и Арагон несправедливо забыл о них в похвальном слове этой литературе: не будь воспоминаний об их укусах и страха перед ними, разве смог бы бывший заключенный Билибин высказать и облагородить свой лагерный опыт? Разве смог бы он гениально воспроизвести свой бывший лагерь, преобразив его согласно канонам „авангардистской литературы”? Под его пером ад становится образцовой шахтой, где трудящиеся участвуют в социалистическом соревновании, где пятилетний ребенок уже знает, что Верховный вожь не допустит преследований самого последнего из трудящихся... Прислушаемся к советским литераторам — и услышим из глубины лай полицейских овчарок.

## **Нейронная полиция**

Тайны этих лингвистических преобразований — достояние не одного Союза писателей. Порождающие законы официаль-

ного языка знает даже простой заместитель прокурора Туркменской ССР. „Поедешь на комсомольскую стройку. Будешь комсомолец”, — заявляет этот шутник, отправляя рабочего Марченко в лагерь на шесть лет:

Вернувшись в камеру, я вспомнил стройки, на которых работал. Около каждой — лагерь: колючая проволока, вышки, часовые, „комсомольцы” в бушлатах...<sup>3</sup>

Экономисты и историки часто забывают, какие понадобились капиталовложения в лингвистику, чтобы поднять целинные земли и воздвигнуть громадные комбинаты руками... русской коммунистической молодежи („Комсомольцев”). „Они всегда, с первых дней, употребляли не слова, а крапленые карты”.<sup>4</sup>

Что такое ум? — спрашивает Демка в *Раковом корпусе*. Это не учение, отвечает заключенный Костоглолов. „В чем ум? Глазам своим верь, а ушам не верь” (стр. 30). „Раствующий” молодой журналист, который метит в писатели, дает ему официальный урок:

Нет ничего легче чем взять унылый факт, как он есть и описать его. (...) Описывать то, что есть, гораздо легче, чем описывать то, чего нет, но ты знаешь, что оно будет. То, что мы видим простыми глазами сегодня — это не обязательно правда. Правда — то, что должно быть, что будет завтра. Наше чудесное „завтра” и нужно описывать!...<sup>5</sup>

Нельзя ни видеть, ни говорить, нужно направить слово против жизни, заткнуть уши завтрашними маршами, остановить протест в горле, стиснуть зубы, сцепить руки: иначе говоря, уничтожить все пять чувств, потерять чутье — единственную замену официального, научного, если хотите, языка.

Этот „Нов’яз” (Оруэлл) истязает при помощи схем, формулировок, ключевых слов. Злоупотребление методами массовой коммуникации, пропаганда — и нечто большее. Он искажает и ломает связи между словами, нашу способность чувствовать и наш чувственный опыт. Главное не то, что на

нем можно сказать, а то, чего сказать нельзя. При внимательном вслушивании окажется, что ничего и не говорится:

Это не слова, а какая-то словесная шелуха. Пустышки. Знаете, как младенцам дают соски-пустышки? Без молока... Так и эти слова: без содержимого. Без наполненности. Не фразы, а комбинации значков. (...) Ведь это готовые клише, а не мысли. Слышно по однообразию... по расстановке слов... по синтаксису... тону... интонации.<sup>6</sup>

Шестичасовое перебирание в руках слов, как отрубленных голов, стояние на трибуне лицом к слушателям, вынужденным не смыкать глаз и непрерывно хлопать — разве означает оно для Сталина и его преемников что либо, кроме: „не хочу, не могу, чтобы меня перебивали”? Обращаясь к умирающим заключенным, к их заплаканным женам и детям, к закрепощенным крестьянам, к несчастным рабочим, к интеллектуалам, разрушаемым постоянными мелкими укулами и укусами, охранник угрюмо произносит, Первый секретарь авторитетно повторяет, диалектический материалист-философ подтверждает теоретическими выкладками одно и то же предписание, единственное означаемое русского марксизма: „А ну, заткнись!”

### Действенность старика Платона

Уже очень давно в календаре западной культуры фигурирует текст, посвященный языку: это *Кратил*, один из Платоновских диалогов. Спорят два афинца, которых Сократ, задавая вопросы, зажимает в угол, примиряет или объявляет ничью (мнения комментаторов по этому поводу расходятся). Излагается, а затем обсуждается следующий постулат Гермона:

По моему мнению, имя, которое дают предмету, это правильное слово; если его затем изменить на другое, отбросив первое, то второе будет не менее правильно, чем первое; именно так мы меняем имена слуг, причем новое имя вовсе не менее точно, чем предыдущее. Ибо

природа не дает ни одной вещи никакого имени, это дело обычая и узуса тех, кто привык давать имена (384 Д).

Во французском переводе в целости воспроизводится специфический аромат гостиной тетушки Урсулы: она ведь тоже привыкла называть всех своих горничных „Мари”! В Урсуле и ее племяннике оживает дух Гермогена, за исключением того, что в словах грека было больше чистосердечия: все его слушатели понимали, что слуги, о которых идет речь — это рабы, что давать им имена никто не „привыкал”; хозяином рождаешься и в качестве такового держишь в ежовых рукавицах орудия, наделенные даром речи. Как и прочим, им дают имя, „это дело закона и обычая для тех, у кого есть обычай и кто дает имена”. Конечно, у рабов нет этих **обычаев**, этого **узуса** (труднопереводимое слово, обозначающее этику, мораль, нравы, традиции, все, о чем можно сказать, есть это или нет — у человека это есть, у раба — нет). Этими „предметами” управляют; им дают имена (о, номера, вытатуированные на руках в нацистских и русских лагерях! Фамилия: „58-я статья”, отчества: „троцкист”, „враг народа”, „вредитель”... имя: „собака”, „сволочь”, „гад” плюс номер дела...)

В переводе раб считается одним из „предметов”: еще один оборот 20-го века. Дело обстоит вовсе не так, Гермоген не разделяет человека и вещь, сводя раба к вещи и тем давая повод к нападкам критиков отчуждения... Нет, он исходит из более общего различия: имеется тот, кто дает имя, и то, что его получает. Но ведь назвать — значит назвать что-то, некую вещь? Ну да, вещь, часть одежды, раба. В огромной мешанине всего, что как-то называется, раб — это необязательно то, что мы называем „объектом”, это может быть и вещь, человеческое сырье, как в калькуляциях хозяев ГУЛага.

Понимание языка как орудия власти хозяина над рабами, которыми он управляет и которым дает имена, т. е. суть позиции Гермогена, в дальнейшем диалоге не оспаривается. В нем обсуждаются (в кругу хозяев) ее следствия. Если, со-

гласно грубому утверждению Гермогена, повелевает тот, за кем слово, разве не говорит это о том, что кто-то может начать повелевать хозяевами, подобно тому как хозяева повелевают рабами? Как отличить истинное от ложного (среди хозяев), если неизбежно победителем окажется тот, кто говорил последним? Не следует ли вместе с Кратилом пойти против Гермогена и выдвинуть идею правильности слов? Как только заговоришь, ты уже пребываешь в этой правильности (Гермоген уже установил, кто обладает властью говорить, это сомнению не подлежит): хозяин прав „по природе вещей”, хозяева естественно понимают друг друга.

Мимоходом отметим два искушения, между которыми колеблется духовная жизнь правящей элиты СССР. Либо кто-то повелевает хозяевами, подобно тому как эти последние повелевают рабами (в лингвистике сталинисты устраняли противников именем теории языка как **сверхструктуры** – Гермоген говорит об **общем согласии** – до тех пор, пока Сталин, как Сократ, не выступил против их преувеличений), – либо хозяева по своей природе всегда правы и мирно сосуществуют в лоне аппарата.

В Греции, как и в России, вопрос о власти в кругу работодателей – вопрос деликатный, ибо речь идет прежде всего о власти использовать и истязать чужую плоть. (Культура этих затруднений касается лишь вскользь, упоминая некоторую „ограниченность гуманизма Древней Греции”. Когда же речь заходит об СССР, социологи так же вскользь говорят о „прилипчивости бюрократии” и о „личном обаянии руководителей”...)

Есть те, кто обладает властью давать имена, и то, что пассивно получает имя (даже если оно и может разговаривать, как, например, раб... это неважно, ведь у поэтов и предметы разговаривают, а поэты уже выброшены на мусорную свалку платоновской Республики). Это изначальное разделение диктует весь дальнейший диалог и становится доминирующим постулатом всей нашей культуры. При этом могущество языка, обнаруживающееся в соприкосновении с рабом, неизбежно выходит за рамки собственно языка: раб

умеет говорить, как и любой другой, — значит, могущество и истинность языка надо искать вне обмена словами, вне слов, являющихся лишь средством. „Надо не исходить из слов, а скорее изучать и познавать вещи, говоря о них самих” (439 б). У истоков возникновения языка стоит „законодатель”, которому истина открывается непосредственно и который затем сообщает ее (плохо ли, хорошо ли) остальным, изготавливая для этой цели слова. Во главе философской Республики стоят Мудрецы, узревшие истину — это солнце над головой обычных людей: они одиноко возвращаются — короли-философы — с „островов блаженных” и запечатлевают истину у нас в умах. Язык, законы, педагогика: вот три орудия правления. Необходимо сверху навязать порядок царящему внизу беспорядку; наш мир есть ненастоящий, опутанный видимостями; нужен мир истинный, высший, надчувственный.

А Сталин писал. Он писал с той внушительностью и ответственностью, когда каждое слово, стекая с пера, сразу роняется в историю.<sup>7</sup> (...) Одному ему известным путем привести человечество к счастью и ткнуть его мордой в счастье, как слепого щенка в молоко — „Напей!”<sup>8</sup>

### „Солнце с отрубленной головой”

Разделение этих двух миров было обставлено благороднейшими мотивами: требовалось отделить знание от невежества, сущность от видимости, идеи от идолов, разум от чувств, душу от тела. Через двадцать пять веков после Платона звезда парижского диалектического материализма Альтюссер ничтоже сумняшеся объявляет это собственным открытием (сделанным при сотрудничестве Маркса и Ленина) и нарекает эпистемологическим разрывом между наукой и эмпирикой, между теорией и опытом, между упорядоченностью и стихийностью, между партией и массами. Этот

разрыв нетрудно заметить в идеологической истории России 30-х годов: интеллигенция часто оправдывает сдачу позиций противопоставлением двух видов истины:

Да позволят мне сделать отступление. В тюрьмах и лагерях без конца велись споры о различии между правдой и истиной. Поскольку русский язык мне не родной, этот нюанс был мне совершенно непонятен. Наконец мне объяснил его один филолог. Эквивалент слова „verité” – по-английски „truth”, по-немецки „Wahrheit” – есть „истина”, слово, обозначающее одновременно и абстрактное понятие истины, и конкретную реальность, к которой оно применимо. Напротив, „правда” представляет собой чисто русское понятие, высшую истину, поднятую на уровень идеи.<sup>9</sup>

Ничего себе чисто русское понятие! Платон помещает истину истин, – Идею Добра – так высоко, что ее можно уловить лишь если ты ослеплен ее сиянием, если ты видишь уже не сами предметы, а освещающее их солнце. Поднять глаза так высоко могут одни лишь мудрецы; следовательно, только они могут управлять слепой массой:

Для НКВД, как и для партии, истины, выраженной словом „истина”, не существовало; это было понятие относительное, иначе говоря, легко изменяемое. Абсолютной была только правда. Мне, как и миллионам индивидов, не участвовавших в этой схоластической перебранке, трудно было взять в толк, каким образом чисто филологическое различие может влиять на жизнь стольких индивидов. Тем не менее это, по-видимому, второстепенное различие сделалось формулой, позволявшей по желанию превращать белое в черное. Понятие правды было положено в основание власти; ничего подобного не случалось со времен Инквизиции.

В 1936 г. мне удалось вырвать ответ у одного из самых умных следователей. „Неужели подлинность факта не имеет для вас никакой цены? – спросил я. – Неужели вы верите только в эту заранее установленную партийную истину?” Ответ его был весьма резок: „Правда – это то, что я сегодня прочел в передовице *Правды*, а все, что в эти рамки не входит, объективно является неправдой. Что же до ваших мелких истиннок, то они вообще не идут в счет”.<sup>10</sup>



Нужно различать Истину и истины; сущность и видимость; душу и тело; тогда весь мир сможет функционировать в рамках нашей культуры; разве считать до двух, а не мешать все в Одно не есть существенный прогресс в смысле ясности и четкости? Но нужно продолжать, нужно идти дальше, нужно дойти до наших 36 истин! Здесь мы наталкиваемся на доминирующую тенденцию: философы называют ее платоновской, чиновники – иерархической, ученики лицеев – авторитарной, заключенные – рабовладельческой, а крестьяне веками терпят ее, никак не называя; что же до рабочих, то им просто не хватает слов, чтобы назвать все щупальца этой гидры. Разрыв между двумя мирами резок и непреодолим: душа должна бороться **против** тела, Истина должна осуществлять диктатуру над истинами. Истина-Правда дает имена истинам, как греческий господин – слугам, истинный язык царствует над смутностью обычного, общего для всех чувственного опыта. Носимый, как эполеты, „истинный язык” становится регулятором социальных различий; тот, кто его формулирует, управляет теми, кто не умеет им пользоваться.

В голодной России 1924 г. пассажиры в поезде обсуждают вопрос о пользе музыки и о необходимости выписывать музыкантам пайки. Композитор наталкивается на враждебность своего купе: „Так что же, выходит, строителям социализма музыка не нужна? Неужели нам надо стать бездушными машинами!” Один из пассажиров раздраженно перебивает его: „Души теперь отменены...” Тут в разговор вступает молодой шахтер. Он говорит вещи весьма разумные: не хлебом единым жив человек, и т. п. Удивительно то, что он единственный осмеливается высказать столь обычные взгляды, к нему прислушиваются благодаря его тону:

„Я сейчас прямо с шахты и знаю, как нам нужен уголь; так вот, поверьте, музыка нам нужна не меньше. Сердце надо греть точно так же, как и тело”. На всех мои слова явно произвели сильное впечатление. Мне не пришлось говорить, что я принадлежу к элите: это было ясно по авторитетности моего тона. До приезда в Екатеринослав –

ныне окрещенный Днепропетровском – обсуждению подверглось еще с дюжину вопросов, и я безапелляционно решал их все. Возможно, те, кто был со мной несогласен, предпочитали помалкивать из осторожности: к чему спорить с Комсомолом?<sup>11</sup>

Промывка мозгов подразумевает нечто гораздо большее, чем набившее оскомину повторение лозунгов, которые, в конце концов, лишь заполняют предварительно навязанное безмолвие. Заставить всех помалкивать из осторожности? Это необходимая, но недостаточная предпосылка того, чтобы уничтожить у всех и каждого внутреннюю речь. Промывка мозгов непременно требует языка, который мог бы вдруг предписать: „Души отменены”. В вагоне перед вмешательством Комсомола царил страх; авторитет слов комсомольца коренится в родстве его языка с языком, вызвавшим первичный страх, с языком, способным „отменять души” и превращать обычных людей в „*tabula rasa*”, отнимая у них слова.

Своих личных знакомых можно иногда обласкать – каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки, но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи О. М. были настоящим преступлением – узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина так же, как и для его клики, эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей: право на суждение определяется и будет определяться судебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака: доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права.<sup>12</sup>

Сверху власть, а снизу вера – этой удачной формулой аббат Сийес, вероятно, поделился с Наполеоном, своим учеником в политике. Чтобы снизу шла вера, нужно подорвать доверие низа к самому себе. Чтобы отобрать у крестьян землю, у плебса – инициативу, а у революционеров иногда и самую революцию, нужно, кроме того, отнять у народа

язык. Буржуазия Западной Европы провела эту операцию не так ловко, как русские чиновники, но ее нетрудно увидеть в приручении деревни городскими властями: школа или молодежные организации, марксизм или обязательная светская ученость — все это разные методы зашивания одних и тех же ртов:

Школа играла роль, близкую к роли Церкви: подобно тому как некоторые соглашались следовать за сведущими людьми по пути подчинения существующему строю, так для множества крестьян школа, еще до казармы, стала местом, где их учили уважать тот самый общественный строй, который делал их эксплуатируемыми трудящимися. (...) У школы есть собственный язык, собственные правила, собственные заботы. Это особый мир, о котором малышам говорят: „Вот пойдешь в школу — узнаешь...”

Такая школа фактически служит выходом в мир книг, мир буржуазии, точно так же как традиционная Церковь служит выходом в вышний мир. Это сравнение настолько верно, что „лучших” систематически извлекают из их среды и посредством учения открывают им доступ к респектабельной и зажиточной жизни выскочки. Школа, внесенная в жизнь извне, проникает в чужой мир, подобно инородному телу.<sup>13</sup>

Итак, дрессировка плебса и одновременно — отбор элиты. Язык хозяев обещает вылечить язвы, которые втайне сам порождает. „Кадр” выделяется способностью заставить замолчать других, но также и собственным молчанием, которое он себе предписывает, чтобы среди чисток и ликвидаций высказывать лишь официальные истины, без паразитических рыданий и зубовного скрежета.

Для большинства хозяев это не так легко и просто. Молодой шахтер Кравченко по мере своего продвижения осознает ужас происходящего: он пытается как можно меньше испачкаться во всем этом, удерживается от протестов, находит прибежище в учебе. Австрийский интеллектual Фишер, приехав в Москву эпохи Процессов, сталкивается вплотную с досадными мелочами (досадными даже для него, свежеспеченного ортодокса). Он-то уж не вульгарный обыватель!

(„Что Сталин, что государственные и партийные руководители могли организовать такого рода процесс из „жажды мести” — такой глупости еще, вероятно, могут поверить идиоты-обыватели, но уж дипломаты и репортеры прекрасно понимают, что это глупость”, — пишет он в то время. Ретроспективно, здесь перед нами самая честная и самая примечательная апология мелкого бизнеса, написанная когда-либо европейским марксистом). Вокруг него интеллектуалы перечитывают Шекспира, их культура объясняет, что Сталин противостоит коварным и кровожадным Макбетам 20-го века! Сам же он посвящает все свободное время масштабному труду... *Космология диалектического материализма:*

Я начал наверстывать упущенное, заполнять лакуны, и находил, особенно в изучении физики, но также и биологии и этнографии, прибежище; это был чистый и упорядоченный мир, иной, чем наш мир, загрязненный и отравленный высокоразвитыми странами.<sup>14</sup>

Каждый укрывается в чтение. По мере того как падают головы, Кравченко приобретает все больше и больше знаний, марксистские интеллектуалы все более ошарашивают культурой. Теория, о старый носовой платок, сколько глаз ты вытирала, сколько слез осушала, какие потоки крови и грязи превращала в тонкие струйки? Вот высшие точки западной культуры хозяев: Платонизм (со своим рабством), классический Разум (со своими заточенными) и Марксизм (со своими лагерями). Тут сплетаются воедино авторитет науки и наука об авторитете, разрабатывается в деталях искусство управлять: плебс уменьшают количественно, одновременно обеспечивая соучастие и бессилие элиты. В сравнении с этими грандиозными успехами, гитлеризм — жалкая неудача (не в смысле примененных средств: учитывая материальные обстоятельства, они равны; скорее потому, что необразованные нацисты выбрали плохую науку — биологию; русские, помножив орадуры на социальные слои, сделали то же самое, не отчуждая от себя прочных друзей во всем мире; расовые орадуры имеют слишком большой резонанс, им в некотором смысле не хватает диалектичности).

## История пьяниц

Язык вождей, этот привилегированный орган науки управлять, вырабатывается специально для управления. Слова не имеют никакой ценности сами по себе, брошенные по двое — по трое, по воле фразы, в свободную стихию разговора, стиха, художественного произведения. Сталкиваясь, они не создают никакого нового смысла, в них уже живут заранее установленные истины, даже Истина; они держатся друг за друга, они составляют одно целое. Плебс неспособен освоить эту систему, а поэту до нее нет дела (за тем и за другим давно ведется строгий надзор). Чтобы держать подданных в руках, хозяевам нужен язык, представляющий собой гибкую, удобоуправляемую систему.

Если слова держатся друг другом, что-то значат только благодаря друг другу, — так что смысл целого ускользает от непосвященных, — то нужно вернуться обратно к **изначальным наименованиям**, которые содержат в себе истинность других слов, но сами не нуждаются в объяснении другими словами (*Кратил*, 421-422). Без этого овладеть системой невозможно:

Мой брат Евг. Яковл. говорил, что решающую роль в обуздании интеллигенции сыграл не страх и не подкуп, хотя и того и другого было достаточно, а слово „революция”, от которого ни за что не хочется отказаться. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни.<sup>15</sup>

Ключевые слова марксистского и платоновского Разума не одинаковы, но функции их аналогичны: слова вождей — это вожди среди слов — революционная Россия является **ленинской**:

Тот, кто первый установил имена вещей, явно руководствовался своим представлением о вещах... а если у него было о них неправильное представление, что с нами, по-твоему, будет, если мы примемся ему следовать?<sup>16</sup>

Караемый, но верный язык, караемые и верные охранители, караемая Россия, которая не может выразить ничего кроме своей верности: воистину, ленинизм – это платонизм для народа.

Платон посягал на большее. А что если первые законодатели пили, спрашивает он? А вдруг они сами „лопали в некий водоворот, где барахтаются и путаются, и увлекают нас за собой? Такая гипотеза запрещается официальным декретом Сталина. Он налагает запрет на 2-ю часть фильма *Иван Грозный*, причем в упрек автору фильма Эйзенштейну ставится то, что он проявил

грандиозное невежество при изображении исторических фактов, представив прогрессивный отряд опричников /личной полиции/ Ивана Грозного как банду дегенератов, наподобие американского Ку-Клукс-Клана, а самого Ивана Грозного, человека с характером, с сильной волей – как слабое, безвольное существо, нечто вроде Гамлета.

(Комментирует нынешний директор теоретического журнала ФКП *Новая критика* в своей статье 1953 г.: „Принимаясь за изучение роли Сталина в развитии советского кино, быстро видишь, что эта тема практически неисчерпаема”. Неисчерпаема настолько же, насколько неисчерпаем ваш воинствующий идиотизм, Франсис Кое; Сталин умер, но вы еще живы – и вот ваш вклад в сохранение русских лагерей, которые тоже еще живы. Что ж, теперь продолжайте оскорблять Солженицына...)

На воре шапка горит. Рассказывают, что 20 декабря 1936 г. Великий Вождь давал банкет по случаю годовщины основания секретной полиции. Полицейские главари выпивают и закусывают. Один из них, напившись, начинает изображать Зиновьева, казненного несколько месяцев назад; он падает на землю, хватается за сапоги подчиненного, умоляет: „Ради Бога, товарищ, прошу тебя, позвони Иосифу Виссарионовичу!” Великий Вождь смеется. Паукер немного меняет свой номер, снова пьет, снова начинает изображать, но по-

новому: на этот раз умирающий „Зиновьев” воздевает руки к небу: „Слушай, Израиль, наш Бог — единый истинный Бог!” Сталин задыхается, он больше не в силах смеяться, приходится остановиться.<sup>17</sup> Несколько лет спустя он оказывается недоволен сценой, вымышленной (?) Эйзенштейном. Кино, как и любое искусство, „озарено сталинской политикой, сталинским гуманизмом, ибо ими озарена вся жизнь советского народа” (Ф. Коен).

Мы по-прежнему пребываем в царстве платонизма. Законодатель когда-то давно дал нам ключевые слова; если его и подозревают в пьянстве, то лишь ретроспективно. Наверное ведь, у Ленина немного шумело в голове, если он так плохо выбрал свой антураж! Почти все его спутники казнены как враги, шпионы, вредители — все, кроме Сталина, который хоть ничего прямо и не говорит, но намекает, по меньшей мере, на „отсутствие бдительности” у первого законодателя. Хрущев уже более определенно говорит о безумных жертвоприношениях своего бывшего руководителя: поскольку законодатель №2 уже обеспечил власть марксизма в России, теперь можно быть платоником с большей открытостью.

### **Заставить говорить**

Есть слова-господа, которые стоят над обычными словами, которые их скрепляют; за ними стоит законодатель, их изготовляющий. За усопшим законодателем стоят те, кто проверяет его деяния, судит о его возможной нетрезвости, те, кто умеет пользоваться этим языком. В этом величие платонизма; все мелкие деспотии нашей истории волей-неволей возвращаются к нему: ведь в конце концов главное в языке хозяев — не изготовление, а **употребление**. Критикуя марксизм за догматичность, мы слишком упрощенно представляем себе догму (могла ли бы она существовать без церкви?) и марксизм. Сталин, скорее на деле, чем по праву, критикует Ленина; Хрущев, и на деле и по праву, ревизует

Сталина, Брежнев — Хрущева, и т. д. Однако марксизм-ленинизм со своей партией продолжают жить — значит, улики следует искать среди тех, кто использует марксизм, как и у тех, кого используют эти последние:

СОКРАТ: Кто же будет использовать работу изготовителя лир? Не правда ли, человек, наиболее способный руководить работой, а по окончании ее установить, хорошо она сделана или нет?

ГЕРМОГЕН: Разумеется.

СОКРАТ: Кто же это?

ГЕРМОГЕН: Тот, кто играет на лире.

СОКРАТ: А работу кораблестроителя?

ГЕРМОГЕН: Лоцман.

СОКРАТ: А работу законодателя? Кто лучше всех может руководить исполняемой работой и оценивать ее, не только у нас, но и у Варваров? Разве не тот, кто будет ею пользоваться?

ГЕРМОГЕН: Да.

СОКРАТ: А не будет ли это человек, сведущий в искусстве задавать вопросы?

ГЕРМОГЕН: Разумеется.

СОКРАТ: А одновременно и в искусстве на них отвечать?

ГЕРМОГЕН: Да.

СОКРАТ: Но можешь ли ты человека, искусного в вопросах и ответах, назвать иначе как диалектиком?

ГЕРМОГЕН: Нет, я называю его именно этим именем.<sup>18</sup>

Язык хозяев как орудие господства — это не так просто, отмечает Платон. Хозяева должны повелевать рабами и общаться между собой — первое приближение к знакомой проблеме, называемой „демократическим централизмом”. Гениальный штрих, от которого и двадцать пять веков спустя светочи марксизма не совсем оправились: „возможное-опьянение-законодателя-стоп-вовсе не неисправность в платоновском механизме-стоп-напротив, — сокровеннейшая тайна ее функционирования-стоп”. Несмотря на помехи на линии, сообщение доходит благополучно, марксизм движется вперед среди устраниний и уклонений, нагромождая друг на друга процессы и изобличения. Язык хозяев точится изнутри



беспокойством, слова-хозяева изъедены жучком, приходится беспрестанно подправлять принципы, которые того и гляди пошатнутся из-за пьянства законодателей.

Хозяева стараются держаться с бесповоротной суровостью, они с удовольствием рассматривали бы себя как дедуктивную необходимость, приписываемую математике, их верность „непоколебима”, а дисциплина „монолитна”; их задача — не в том, чтобы навязать мировому беспорядку суровый, жесткий и вечный закон инопланетного Разума, а в том, чтобы замкнуть бунтующий плебс в Разум хозяев, свести народные эмоции и народное сопротивление просто к отклонениям в дозволенном языке. Рабам предлагается излагать имеющиеся у них претензии на судебных процессах, устраиваемых хозяевами; таким образом, они втягиваются в махинации сильных мира сего, и их бунт лишается собственного голоса; ты не отлыниваешь — а вредишь; не сомневаешься — а „шпионишь”; не говоришь „суп невкусный” — а замышляешь заговор против государства.

Употребление языка, повелевающего законодателем, заключается в том, чтобы опутать мятежный дух тенетами хозяйских слов; игра ведется при помощи вопросов и ответов, но краплеными картами. У Платона допрос решает третейским судом споры соперников; в *Политике* проводится различие между истинным политиком, его помощниками и приближенными — и политиком мнимым, самозванцем; в *Федре* такое же различие проводится между истинной любовью, подлинным безумием — и его закамуфлированной противоположностью, вредным иступлением. Платон разделяет, иначе говоря — устраняет отклонения:

Итак, цель разделения заключается вовсе не в том, чтобы разделить род на виды; разделение имеет более глубокий смысл: отбор потомства... разбор притязаний, возможность отличить истинного претендента от ложного.<sup>19</sup>

Каждое слово есть повод для процесса: точное оно или нет, свидетельствует оно о том, что законодатель был пьян, или о его мудрости? Фактически плебс дрессируют, чтобы

сделать из него приспособленцев; его подвергают чисткам, беспокоясь, не заразил ли его законодатель своим пьяным бредом. На философском уровне делается различие между правильной линией и неправильной; в реальной жизни производится отбор элиты, платоновских охранителей и марксистских кадров, специалистов по игре в вопросы и ответы, которой обуславливается движение правительственной машины.

**Употребление** языка закабальет каждого человека вопросом, а затем освобождает, разрешаясь ответом. Вот верх платоновской иронии: Сократ задает вопросы рабу — неважно какому, лишь бы тот умел говорить по-гречески — и, не говоря об этом, подводит его к открытию геометрической теоремы (об удвоении площади квадрата). Вопросы специально направлены, их задает хозяин; он не подсказывает невежде ответов, а вызывает их из глубины существа спрашиваемого, который знал, не зная, который „вспоминает” не науку, а „истинное мнение”. Русская полиция заставляет людей говорить; это не она говорит — это сам обвиняемый „признается”: порок отдает дань добродетели. В обоих случаях хозяин не вдалбливает истин, — он заставляет в них **признаваться**.

Сближение платоновской Республики и Архипелага ГУЛаг возмутит поклонников философа; сравнение „духа построения социализма в СССР” с платоновским идеализмом заденет наших марксистов. Не забудьте: Платон отдает своего примерного раба (в *Меноне*) для решения не геометрической, а политической задачи; выставленный напоказ раб является наглядным доказательством от абсурдного, что, какими бы мы ни были невеждами, в нас живет „истинное мнение”, божественная благодать, которая и без учености создает хороших ораторов, хороших граждан, добропорядочных, честных невежд. Жить в рамках порядка, уважать его и заставлять других его уважать — этого могут достичь все, не только философы. Особенно если вопросы им задают те одержимые демоном вопросов люди, которые отлично владеют искусством „прорывать” защитные укрепления обычного человека.

В наше время уже не так легко выбрать наудачу раба, выпустить его на залитую огнями сцену, заставить публично свидетельствовать о живой внутри него истине, а затем отослать обратно на место, т. е. в оковы. Учитывая возможность сопротивления, от сократической иронии переходят к иронии полицейского шпика. Именно сему благородному чину поручается употребить надлежащие средства, чтобы заставить народ **заговорить**. Русская полиция давит, мучает, пытается и убивает, но видеть только это значило бы упускать из виду одушевляющее ее стремление, грандиозный замысел: она стремится перековать человека, преобразовать мышление, глобально изменить отношение человека к выразимому и невыразимому, вбить язык правителей в головы и кишки управляемых. На процессе Сланского (Чехословакия, 1952 г.) Мария Свермова во всем „призналась”; вот как она объясняет причину этого много лет спустя:

Мария Свермова долгие месяцы отказывалась подписать. Она выдержала ночные допросы, резкий свет прожекторов, психическое истощение. Но, оказываясь наедине с собой, в камере, она сама устраивала себе процесс. Ее „двойник” выдвигал обвинение: „Подумай! Может быть, ты все-таки... Подумай. Партия всегда права. Ей нужны твои признания”. — Окружающий мир свихнулся, и эта „свихнутость” пыталась завладеть ею, начинала подчинять ее себе. — „Объективно я была вредна, я внесла в Партию предательство и шпионаж. Объективно? Всего лишь объективно? Да кто этому поверит? Сама-то ты этому веришь?” Верила ли я себе? Нет, я больше ни во что не могла верить, ни во что. А тут все новые признания товарищей на первостепенных ролях, признания, уличавшие их, уличавшие меня. Партия говорила: признавайся! Моя Партия. А если не признаешься, я тебя извергну как блевотину: тебе очень хочется быть блевотиной? Только признание может примирить тебя с Партией. То, что мне предстояло подписать, выучив слово за словом, было безумием. Но если все было безумием, весь мир, если опереться было не на что, кроме как на Партию... а Партия требовала, чтобы я подписала это признание и затвердила наизусть, как роль. Разве ты не должна принять любую роль, будь то роль партийного секретаря или обвиняемой, палача или жертвы? За постановку ведь берется Партия, которой ты нужна именно в этой роли и ни в какой другой.<sup>20</sup>

У нацистов постановки процессов провалились. В лагерях им иногда удавалось вынудить физическое соучастие заключенных, но они так и не смогли заручиться моральным и духовным соучастием сопротивлявшихся людей. Сопrotивляться марксистской полиции было гораздо труднее: в использовании материального фактора ее практика мало чем отличалась от немецких коллег, но она работала в сфере истинности: она искажала отношение к словам, даже к тем, которые в безмолвии звучат среди узкого круга сопротивляющихся.

## Сущность и существование

Когда пощечина превращается в событие философского значения, то ощущение нечистой совести может возникать не у того, кто ее дал, а у того, кому дали. Ницше, в этом отношении весьма современный ученик Платона, с любовью описывает полицейское искусство:

**Учителя вместо судей. – Против наказывающего правосудия.** Его может заменить только правосудие обучающее (совершенствующее разум и тем самым привычки, создавая новые побудительные мотивы!). „Отвесьте этому ребенку оплеуху! Он такого больше не повторит”. Здесь оплеуха есть, следовательно, воспоминание о полученном уроке; боль действует как сильнейший стимулятор памяти. Отсюда должно вытекать величайшее смягчение всех наказаний: насколько возможно, их уравнивание! Это же просто мнемонические правила! Тогда достаточно немногого! (Отмена похвал!)<sup>21</sup>

Партийное начальство не препятствует полиции разделяться с собой; затем оно переходит к признаниям. Затем партия, в свою очередь, обезглавливает полицию. Полиция предварительно сверху донизу вычищает партию, а затем ликвидирует самое себя. Все спуталось, живые люди и трупы переходят, **ликвидированные**, из одного ведомства в другое. Однако разделение труда продолжает существовать, каждая чистка вновь вписывается в рамки данности: партия при-

казывает, полиция заставляет говорить. Получив нужное количество признаний, партия синтезирует их и сообщает плебсу в качестве голоса народа. Что такое *История ВКП(б)*, опубликованная в 1939 году под эгидой Сталина, как не лоскутное одеяло из признаний, извергнутых, подобно блевотине, на открытых процессах? Центральный Комитет говорит то, что есть; политическая полиция показывает, что это **есть**. Такое разделение труда эффективно, оно не исчезает; когда партийные кадры соглашаются, чтобы полиция вырывала у них признания, они отдают должное этому разделению. Кадры видят в полиции основу существования своей власти; полиция почитает партию как сущность этой же власти.

Нечто существует: это заставляет признать полиция. Что некто предпочитает существование небытию — тоже дело полиции; она убеждает людей в том, что „ничто проще и легче, чем нечто” (Лейбниц). С самых истоков западной метафизики в ней различается то, чем вещь является — ее *essentia* — и факт ее наличия или отсутствия — ее *existentia*. В нашу эпоху существованием ведает полицейский; его произвол подводит нас к основному вопросу: зачем они, зачем я, „зачем нечто, а не ничто?” Сущностью занимается партия: она узаконивает происходящее, именно благодаря ее учению и ее линии мы узнаем, что „ничто не совершается без достаточных к тому причин” (Лейбниц). Если „Разум в природе есть то, отчего существует нечто, а не ничто”, то в „советской природе вещей” двумя столпами Разума являются партия и полиция: одна составляет вопросник, другая задает вопросы; затем эта последняя поставляет на них ответы, а первая выправляет их по форме, излагает Историю и надписывает адрес, после чего вторая отправляет посылку на Архипелаг. Триумф достаточности марксистского разума в том, что каждый из всех сил старается „сделать происходящее понятным и даже приемлемым”.<sup>22</sup>

Язык хозяев вас **постепенно** заглатывает: сначала слова оказываются за колючей проволокой, обитающий в них смысл ускользает от рядовых людей, которые ими пользует-

ются. Затем, когда вы поднимаетесь по социальной лестнице, вам приходится судить и о словах, и об этих простаках, подняться на точку зрения законодателя: знание, т. е. ленинизм — это лифт, возносящий на вершины. Третий этап: вам на помощь приходит полиция, она задает наводящие вопросы, помогает вам практиковаться в методическом сомнении: не доверяйте этому языку, давшему вам исключительность — может быть, законодатель был вашим злым духом? проанализируйте свои восторги; зароните в себя сомнение в себе самом, разве вы уже не заточали других? Четвертый и последний этап: на земле и в головах царит порядок, партия формулирует смысл всего спектакля. Она делает это для детей тех, кто считал окончательным первый, второй или третий этапы; для тех, кто преодолел все препятствия; эти люди с партийным билетом в кармане, иногда с голубым кантом на фуражке, провозглашают себя охранителями Учения, копыеносцами „Революции”, строителями „социализма”. После смерти Сталина они договариваются между собой о том, что впредь на скачках с препятствиями будет ломать себе головы меньше жертв — но только по окончании первого этапа: всегда нужно испытывать на прочность рабов, невежд, детей, диссидентов, не умеющих соблюдать законы нашего языка — ох уж эти поэты!

### **Живые скрижали живого закона**

Эта формула языка хозяев является общепринятым образцом в нашей западной цивилизации. Образцом многоликим: положение слуг, как и навязываемые им резоны, меняется; допрашивающий — то католический инквизитор, то якобинский прокурор; законодатель — то папа римский, то император, и т. д. Этот труд, все вновь и вновь предпринимаемый под покровительством Разума, Ницше прозаически называет дрессировкой и селекцией (хотя и он не обходится без восхваления ее, на свой лад). Дело историка — выявить несомненно существующие различия между

распятиями в Древнем Риме, заточениями в Великом Веке и русскими лагерями. Дело лингвиста – выявить поразительное постоянство структур этого языка-хозяина, где каждое вольное слово заглатывается („во имя науки”) Кодексом, где какая бы то ни было связь между словом и вещью существовала лишь в мозгу загадочного, давно умершего законодателя; где общение между говорящими происходит на полицейско-допросном уровне; где передатчик, приемник и сообщение, ученик, учитель и урок в конце концов превращаются в Одно целое в замкнутой цепи Академии, Церкви или Партии.

Этот язык, оборудованный как механизм господства, трудно себе вообразить. Репортеры о нем не пишут, о нем лишь изредка доходят какие-то слухи. Впрочем, имеется весьма яркое, хотя и приблизительное, описание аналогичной машины. Сконструирована эта машина по принципу Гермона: дать вещи имя – значит подчинить ее себе, особенно если наименованная вещь – человек и если я помечу своего слугу **клеймом**:

Наш приговор не строг. Просто при помощи бороны на коже виновного вырезается нарушенный параграф правил. На теле этого осужденного – и комендант показал на человека – напишут: „Уважай своего начальника”... – А он знает приговор? – Нет, сказал комендант ... нет смысла ему говорить, он ведь узнает его на собственном теле.

Чертежи машины для накожного письма (чего-то вроде бороны) – дело рук бывшего Коменданта („– самого коменданта? – спросил путешественник. – Значит, он соединял в себе все? Он был солдатом, судьей, конструктором, химиком, чертежником? – Идеальным, – ответил комендант, качая головой, глядя перед собой остановившимся, мечтательным взглядом”.) Творение этого законодателя несовершенно: одно колесо скрипит, кляпы износились („Как их может не тошнить, когда им в рот вставляют этот кусок войлока, иссосанный и изгрызенный до них сотней людей в смертельных муках?”) Комендант утверждает, что его машина незаменима. В кожу, в плоть врезают сложные

иероглифы. („Да, — сказал комендант со смехом, — это не детские прописи. Их надо изучать очень долго”.) Но истина универсальна: после шестичасовой пытки озарение наступает даже у самых тупых. („Это начинается с глаз, а затем распространяется лучами дальше. Завидное зрелище. Хочется самому лечь под борону. Впрочем, больше ничего не происходит: просто человек начинает расшифровывать надпись. Он шевелит губами, как будто искупая свою вину. Вы видели это письмо, его нелегко прочесть глазами; а тут человек разгадывает его своими ранами. Разумеется, это тяжкий труд; на него требуется шесть часов. В момент завершения борона протыкает его насквозь, и он со звуком „плюх” падает в ров, на окровавленную воду и вату”). Убеденный в красоте и значительности происходящего, комендант в конце концов сам ложится в объятия машины. Почему это некоторые запрещают Кафку и его „исправительную колонию”? Неужели кто-то чувствует, что метят в него?

На нашем чудном Западе у хозяев есть давнишняя привычка обучать слуг миропорядку: на долю этих последних выпадает **разгадывать его своими ранами**, представлять собой одну сплошную рану, чьи губы должны по складам прочитывать законы деспота — этот язык Разума.

Лагеря есть тайные средства коммуникации. Коммуникации хозяина со слугой, эксплуататора — с эксплуатируемым. Теперь даже если плебс не в заточении, угроза чувствуется в давящем, мертвящем безмолвии, среди которого голос хозяина слышен раньше, чем он начнет говорить. Всякий русский, заключенный или свободный, живет „в зоне”: излагать вслух свои соображения может только государство.

Как только мозг, охваченный тоской и страхом, перестает думать о чем-либо кроме лагерей, его заполняют лозунги. Говорить о лагерях недопустимо; если ты свободен, то игнорируешь существование заключенных; если ты заключенный, то тебя забрали „по ошибке”; официальная философия умалчивает о предпосылке, на которой зиждется ее царствование. Гермоген, Кратил, Сократ всё рассуждали,



забывая в пылу диалога об упомянутом вначале рабе, об этом говорящем орудии, получающем имя и законы от хозяев. В 20-м веке забвение не так естественно, следовательно, нужно его предписать: заключенный становится ребенком, которого „перевоспитывают”, безумцем, которому навязывают разум, орудием чуждой силы, находящейся с нами в состоянии войны. Отношения всегда равные: благодаря педагогике — между нынешним хозяином и хозяином будущим (перевоспитанным); благодаря психиатрии — с хозяином прошлым (падшим, усомнившимся, сошедшим с ума); благодаря стратегии — с хозяином-недругом (который нами завладевает изнутри). Но главное всегда — умолчать о первичном **неравенстве**, о постоянной потребности в недочеловеке, о том, что единственной опорой хозяйского закона является плоть подданных, на которой его вырезают.

В диалогах Платона, так же как в церемониях на Красной площади, „вокальные инструменты” созываются для того, чтобы провозгласить одно-единственное „да” — свидетельство полной власти хозяйского слова. Две тысячи лет прошло — а все по-прежнему: законодатель, беспокойство по поводу его предполагаемого опьянения, искусство допроса, власть давать ответы, истинный, всеобъемлющий язык, и т. д. Короче говоря, необходимо мотивировать разделение власти, но сидеть смирно, обеспечив себе предварительно власть над плебсом, полностью лишенным права слова.

Нацисты, более необразованные (или более циничные, более откровенные — как хотите), открыто называли свой плебс недочеловеками. Именно естественность, биологичность их расизма сделала, по-видимому, их лагеря невыносимыми (задним числом) для 20-го века. Русский же ГУЛag исправно выплачивает членские взносы профсоюзу Стражей города, основанному в эпоху рабовладения и признанному общественно полезным всей прочной традицией западной культуры: только теперь ссылаются не на биологию, а на рациональную педагогику, обращение с нынешним недочеловеком есть не что иное как лепка восхитительного человека бу-

дущего. Марксизм может представить рекомендательные письма, его система заморачивания голов восходит к глубокой древности; русское изделие, может быть, оригинальностью и не блещет, зато эффективно синтезирует открытия других; прочное и крепкое, оно хорошо продается, вместе с этикеткой „марксизм-ленинизм” и способом употребления: как средство для иссушения мозгов.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Л. Чуковская: *Спуск под воду*, стр. 93.
2. *Там же*, стр. 42.
3. А. Марченко: *Мои показания*.
4. Н. Мандельштам: *Вторая книга*. Париж, 1978, стр. 204.
5. А. Солженицын: *Раковый корпус*. Париж, 1968, стр. 246, 248.
6. Л. Чуковская: *там же*, стр. 90-91.
7. А. Солженицын: *В круге первом*, стр. 95.
8. *Там же*, стр. 103.
9. Иосиф Бергер: *Крушение поколения*, стр. 53.
10. *Там же*, стр. 54.
11. В. Кравченко: *там же*, стр. 66.
12. Н. Мандельштам: *Воспоминания*, стр. 88.
13. М. Ламбер: *Крестьяне в классовой борьбе*, изд. Сей, стр. 44. После этого нечего удивляться тому, что марксистские философы особенно привольно себя чувствуют в „буржуазном” университете и кидаются на защиту всего самого „наполеоновского” в его авторитете. См. *Стены школы* Ж. Коломбея (10/18).
14. Э. Фишер: *Великая мечта о социализме*. Т. 1, стр. 399.
15. Н. Мандельштам: *там же*, стр. 133.
16. *Кратил*, 436.
17. Р. Конквест: *там же*.
18. *Кратил*, 390.
19. Делез: *Логика чувства*, стр. 348.
20. Э. Фишер: *там же*, стр. 371.
21. Ф. Ницше: *Человек – слишком человек*. Т. 2.
22. Л. Чуковская: *там же*, стр. 104.

## Глава 6

### Поверхностное просвещение

„В наше время, на нашей планете знать человека — означает задавать ему вопросы до вивисекции. Все мы знаем, сколько садизма может быть в слове „вопрос”. Инквизиторы наводнили собой все. Знать человека — значит не оставить ему практически возможности существовать. В этом случае я его не выпрашиваю. Я смотрю на него, осязаю, вдыхаю, потрясенный передающейся от него силой неизведанного...”

Ипустеги, 1974

„Итак, обычно рвение и добрые чувства тех, кто вопреки времени сохранил преданность искренности, сколько бы таковых ни было, не оказывают никакого влияния, ибо никто их даже не замечает: при тиране у них отнята всякая свобода действий, слов и почти что мыслей, они становятся совершенно одинокими со своими фантазиями; поэтому бог насмешки Мом не совсем шутил, когда нашел в сотворенном Вулканом человеке следующий недостаток: Вулкан не вставил ему в сердце окошечко, через которое можно было бы видеть его мысли”.

Этьен де ла Бозси,  
*Речи о добровольном рабстве*, 1548 г.

Язык хозяев с его клеймом 20-го века — марксизмом — остается грозным оружием. Он не выполняет того, о чем говорит? Неважно, ибо о том, что делает, он не говорит. Вдохновляемые им стихи плохи? Хватает и того, что они по-

крывают глянецом безмолвия расправу, обрушивающуюся на любое свободное слово. Уверенность преисполняет того, кому удастся шантажировать даже истинных поэтов: „На нее (Ахматову) действовали, держа Леву у себя в качестве заложника. Если бы не это, так называемые „положительные” стихи никогда бы не появились на свет Божий.”<sup>1</sup>

Мыслители 19-го века – эти оптимисты – спрашивали себя, какая сила преобразует зло в добро, блуждания – в счастливый конец, войну – в мир. Они же, становясь пессимистами, вопрошали: что же превращает истину в заблуждение, терпимость – в преследования, комедию – в трагедию? Хозяева-диалектические материалисты снова открывают для себя тайну этой алхимии слова и сердца: преобразование, преодоление, возвышение, перековка строятся на одном-единственном принципе: страхе. Страхе перед шантажистом.

В глубине веков можно откопать философов, внушающих почтение своей недоверчивостью: ведь они дошли до того, что придумали некоего злого духа, вынуждающего их сомневаться в самых заветных своих убеждениях! Ныне нам достаточно для этого страха; страха, который высушивает слезы в глазах и отнимает дар речи, страха, которым полна каждая из женщин, стоящих в очереди перед тюремными воротами:

Тетка ушла. Вопрос ее причинил мне страдание – более острое, чем вся морозная беспросветная ночь. Я почувствовала свою немоту. Я ничего не могла бы ответить ей. В эту ночь и во все предыдущие ночи и дни меня мучило не горе, а что-то худшее: непостижимость и неназываемость происходящего. Горе? Разве горе такое? У горя есть имя и если ты достаточно мужественен, ты окажешься в силах произвести его. Но случившееся с нами лишено имени, потому что лишено смысла. Сон, кошмар? Нет, не следует клеветать на кошмары... Мне казалось, что голова у меня кружится и сердце медленно тяжелеет не от шестнадцати часов, проведенных на ногах, а от бесплодных усилий понять случившееся и дать ему имя.<sup>2</sup>

Классическая философия с удовольствием вводила своих

последователей в узкие ущелья, в конце которых обещала истину — испытание убеждений, изменение смысла слов, методическое сомнение, внешние потрясения, коперниковский переворот. Наука, история, логика... Это был умело регулируемый театр теней, призванный напугать сидящего в классе ученика ровно настолько, чтобы дух его раскрылся для обучения. Всякий русский, до последнего крестьянина, был грубо выставлен в этом театре на обозрение, его душу провели через все философские ужасы, без всякой помощи — за исключением помощи, которую он мог обрести в себе самом и в себе подобных. Декарт упорядочивал свои сомнения в теплой комнате — своей „печке“; 20-й век размышляет в тюремных очередях.

„Не следует клеветать на кошмары” — возможно, чтобы это понять, нужна смерть века. В момент, когда французские оккупанты устраивали избиение испанского народа во имя революционных идей, Гойя рисовал чудовищ, порожденных „сном разума”. Сегодня никто не спит, кроме нас, чудовища суетятся, у них есть свой разум: ведь они украли наш. Разделение на расстреливающих и расстреливаемых не имеет ничего общего с дурным сном, с теоретической ошибкой, это не сон какого-то общего для обоих разума. Одни говорят, другие молчат, но общего между ними — только страх.

Эта ставка на государство с его чудесами совершенно чужда Манделштаму. Он рано понял, что несет людям государство нового типа, и не надеялся на его покровительство. И он верил, что „народ, как судья, судит”, а также сказал: „восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья, народ”. Эту веру разделяю и я, и знаю, что народ проносит свой суд, даже когда безмолвствует.<sup>3</sup>

Ленин, вероятно, ценил крупные исторические фрески до того, как ушел с головой в крупные шалости Истории: в один прекрасный день он свел всю западную мысль к великой битве между хорошим теоретиком и плохим, к дуэли материалиста с идеалистом. Тут и зародилась голливудская

философия, давшая пищу для разговоров стольким болтунам. Даже цветные широкоэкранные изображения Римской Империи, менее теоретические, менее документированные, со всеми своими анахронизмами, объясняют нам больше. Цезарь в Риме или царь в Москве, Сицилия или Колыма — все то же: все те же рабы извлекают из земли все те же драгоценные металлы. Между сопротивляющимися в катакомбах и сенаторами, полагающими, что их спорами управляется Империя, пролегает пропасть. И та же пропасть пролегает между патрициями-марксистами и угнетенным плебсом: одни спорят о том, как наилучшим образом использовать страх для обеспечения своего господства — другие сопротивляются, пытаются найти слова и передать друг другу свои чувства внутри системы страха. Если сквозь западную мысль и проходит водораздел, то это водораздел между сопротивлением раба и логикой террора, который им правит. Если Ленина еще можно было разделить этой границей, то ленинизм уже весь оказывается с одной стороны. Похоже, что здесь наш век зашел в тупик. Это подарок нам от тех, кто состарился в атмосфере страха.

... как не бояться? Бояться надо — вдруг нас сломают и мы наговорим, что с нас потребуют, и по нашим спискам будут брать, и брать, и брать... Никто ни за что поручиться не может. Я и сейчас боюсь — хотя бы шприца с мерзостью, которая лишит меня воли и разума. Как я могу не бояться? Только сознавая свою беспомощность и общий позор, мы не лишимся страха и не станем непуганными. Страх — организующее начало и свидетельствует о понимании реальности... Я повторю слова Мандельштама: с таким страхом не страшно. Но и расслабляющий страх, как у вдовы скрипача, безгрешен. Настоящую опасность таят в себе непуганные наверху еще больше, чем внизу, а еще — потерявшие память. Из таких вербуются низкие труссы и мнительные султаны...

Я уже не увижу будущего, но меня мучит страх, что оно может в чуть обновленной форме повторить прошлое.<sup>4</sup>

Ужас повелевает; у него, вероятно, полно времени, он не спеша все оскверняет и всех оскотинивает. Как всякое

хозяйское слово, марксизм не задается вопросом о средствах, умалчивает о своих репрессивных деяниях. К его изначальной глупости добавляется изначальная мерзость. В одном диалоге Платона несравнимо больше тонкости, чем в 10000 томов на дубовом марксистском языке. Когда-то хозяева не так боялись; они осмеливались доискиваться до пьянства своих предполагаемых законодателей, их неприужденность доходила до того, что в своих философских трудах они давали слово учениям сопротивляющихся рабов: эпикурейству, стоицизму, христианству – всему тому, что русские охранники запикивают в лагеря и спецбольницы. Вопрос к историкам философии: вы собираетесь ученым голосом спрашивать себя, действительно ли Иннокентий (*В круге первом*) – „эпикурец”, Шаламов – стоик, Солженицын – христианин? Спросите лучше вот что: разве стоик минувших эпох не был бы сейчас Шаламовым, а первобытный христианин – Солженицыным? Жизнь мысли – это живучее, как кошка, сопротивление раба – где мы найдем его сегодня?

Какой бы плотной ни была хозяйская сеть, в ней остаются прорехи. Ячейки расходятся. Если бы мы поняли хоть это, то вновь обрели бы глаза, которые видят, уши, которые слышат, да впридачу чуточку братства по отношению к русским заключенным и рабам, которые окружают нас во времени и пространстве, противостоя докторам правительственных наук. Так ли уж он далек от нас, этот спор, затеянный заключенными Геной Кривцовым и Толиком Родыгиным? Разве не открывает он нам глаза? Это происходит при выходе с политзанятия:

К нам приехал лектор – мордовский писатель (как-то получилось, что Кривцова и Родыгина не успели заранее упрятать в карцер, и они присутствовали на лекции)...

Кривцов, Родыгин и еще несколько человек остановили лектора на крыльце штаба, так что все равно разговор произошел при широкой публике. Лектору „помогал” майор Постников, главный наш кагебист. Кривцов спросил, почему на этом писательском совещании или



съезде не дали слова никому из наиболее прогрессивных писателей – например, Некрасову или Солженицыну.

– Носитесь со своим Солженицыным! Какой это писатель? Он только позорит звание писателя!

– Почему же вам не нравится, что он пишет? – спросил Генка ехидно.

– Да кому это может понравиться? Он же на русский язык клеветает! Что это такое на каждой странице „масло-фуясло” или „нифуя”!

В это время какой-то ээк просил дежурного надзирателя пропустить его в рабочую зону к зубному врачу. Он показывал надзирателю справку, а тот отмахивался и орал:

– На х... мне твоя справка! Жди развода, а пока катись к е... матери!

– Ну, а какими же словами прикажете описывать эту сцену? – спросил Родыгин.

– Это вообще незачем описывать. Ни к чему и даже вредно заострять внимание на темных сторонах жизни, на мелочах и отдельных недостатках, – поучительно ответил Постников...

... Ваш Солженицын искажает жизнь! Вот у меня две дочери-школьницы прочли этого *Ивана Денисовича* и вообразили, что могут теперь критиковать отца. Каждый вечер то вопросы, то упреки, то слезы! Я им сначала объяснял по-хорошему, а потом пришлось кинуть журнал в печку, и конец.

– Ну и как, – сказал Родыгин, – убедили этим своих дочек? У вас всегда один веский довод: журнал – в печку, а нас – в карцер.<sup>5</sup>

Как вселяется дух в девушек и рабов? Об этом никто не думает – возможно, потому, что дух не „вселяется”. Просто в один прекрасный день волкодав вдруг бросается на людоеда; тогда, за неимением адекватного ответа, тот открывает, что у волкодава, оказывается, есть душа. Только колониальное чванство может внушить мысль, что в своем кругу рабы или дети продолжают оставаться глухими и немыми. Шлем великого Гегеля, отца диалектики, Отца отца марксизма: отупев от наслаждений, хозяин теряет дар слова; раб добывает этот дар трудом. Успокойтесь, теоретики. Кто бы мог подумать, что хозяева и рабы ссорятся не из-за одного-единственного, монолитного языка? Один находит, другой теряет; диалектика хозяина и раба состоит в вырывании диалектики друг у друга из рук; сын только и мечтает о том, как бы стать похожим на папу; хороший коммунист – о

том, как бы занять место „плохого“; заключенный — о том, как бы стать тюремщиком; когда старшие умрут, мы пойдем по их стопам... Так нет же, ничего похожего! Заключенный разглядывает тюремщика, а при случае плюет ему в морду. Плевков этот гуще многих глав из *Феноменологии Духа*, посвященных взаимной признательности Хозяина и Раба, да и поумнее их будет.

Не протягивайте хозяину платок теории, чтобы он утерся, не ждите, пока он снова наведет красоту — попытайтесь увидеть его глазами заключенного. Уникальное откровение Великих 20-го века: укрепление, упрочение, восстановление власти подразумевает сожжение книг и тел; хозяин — это прежде всего и превыше всего тюремщик. Поэт Платон хотел ликвидировать поэтов; хозяин всегда нес в себе зародыш тюремного надзирателя; ныне в нем ничего, кроме надзирателя, не осталось. Его мысли — это колючая проволока, по его улыбке пропущен ток.

## Не умереть от избытка разума

„Винцент Ван Гог, собирающийся послать ухо, которое только что отрезал как раз в месте, вызывающем особую гадливость в приличном обществе... чудовищное ухо, посланное в конверте, внезапно преступает пределы магического круга, внутри которого тупо не удаются обряды освобождения. Оно преступает эти пределы, так же как окровавленный язык Анаксарха Абдерского, перекушенный собственными зубами и выплюнутый в лицо тирану Никокреону, так же как язык Зенона Элейского, выплюнутый в лицо Демилосу... после того как оба эти философа были подвергнуты ужасающим пыткам — первого из них живого толкли в ступе“.

Жорж Батай

Единение, которое открывают для себя преследуемые, не имеет ничего общего со Священным Союзом хозяина и раба, будь он трижды марксистским и диалектическим. Возникновение Архипелага переворачивает вверх тормашками интеллектуальную географию культуры Запада, разоблачая скрытые трещины и одновременно смыкая казавшиеся удаленными континенты. Между плебсом, захватившим множество свобод, литераторами, позволяющими себе вольности по отношению к цензорам, и дерзкими философами, сующими нос в попойки законодателей, возникает стговор, который в прошлом можно заметить лишь в редкие и великие моменты.

Что общего между сопротивлением художника, ребенка, уголовника? Прежде всего вот что: они осмеливаются перебить хозяина, они отвечают. Отвечают **не ему**; на их ответы нельзя наклеить этикетку уклонов, оппозиций, надлежащим образом каталогизированных оплошностей, их нельзя превратить в официальную жвачку. „Посредством Искусства иногда посылаются нам — смутно, коротко, — такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению”.<sup>6</sup> Преследования, обрушивающиеся на людей искусства, далеко превосходят изначальную силу их политической агитации (для обуздания их группок и группочек достаточно бы было натравить их друг на друга). Разве не воздавал этим Сталин высочайших почестей поэзии? Искусство не может ни брать власть (как это показывает судьба Маяковского), ни тем более защищать ее (поглядите на Арагона); зато оно может вызвать у нее короткое замыкание. Не „сюрреализм на службе у Революции”, может быть, даже не „сюрреалистическая Революция” — но то, что в ней эхом вторит средневековому карнавалу: мир, перевернутый с ног на голову, мир, в котором люди низа свободно сообщаются друг с другом, смеясь над людьми верха.

Искусство свидетель тому, что всегда есть какая-то сила коммуникации, неподвластная сильным мира сего, каким бы монолитным ни было их правление. Истину правительство может вывернуть, как руку своей Правде; даже доброту оно может поставить на службу назидательному созиданию

„социализма” — но красота от правителей ускользает: едва ее схватишь, она перестает быть красотой, а тем временем вновь всплывает среди нехудожников, среди заключенных, крестьян, детей. Это нечто большее, чем культура: это общение через голову хозяев.

Кто сумел бы косному, упрямому человеческому существу внушить чужие дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых им самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература.

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на собственном опыте, так что втуне проходит ему опыт других. От человека к человеку, восполняя его кощее земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздает опыт, пережитый другими, — и дает усвоить как собственный.<sup>7</sup>

**Воссоздает во плоти.** Искусство порождает у плебса неистовую, непрерывную коммуникацию от кожи к коже, от раны к ране. Комендант из *Исправительной колонии* ошибался: это не хозяйское слово читается в истерзанной плоти — терзаемые обмениваются взглядами, раны говорят с ранами. Говорят странным, чудовищным языком. Языком грубым, ибо нужно сломать культурную монополию хозяина. Невыносимым, ибо один-единственный акт должен установить контакт, что-то сказать, сообщить какую-то истину, окликнуть собеседника, подписать сообщение, объединить все потенциальные возможности языка в едином событии, как в единой строфе:

Хотя в тюрьме каждый шаг, каждое действие предусмотрены и описаны по пунктам и параграфам, иногда случаются непредусмотренные события. Однажды вели нас в баню. Идем мимо больничного корпуса, навстречу нам — начальница больницы. Видно, идет на работу — это было утро, часов девять. Вдруг слышим — с верхнего этажа больничного корпуса крик, и что-то падает сверху прямо ей под ноги. Начальница наклонилась, посмотрела и сплюнула. Мы как раз про-

ходили мимо нее и увидели, что на асфальте лежит отрезанный мужской член – весь в крови. Видно, какой-то бедняга в больнице решился покалечить себя таким образом, выглядывал потихоньку из форточки, и вот выкинул ей из форточки свой „подарок”. Что же она сделала с ним, чтобы пробудить жажду такого мщения?<sup>8</sup>

## Живые доказательства

Психиатры, не вскакивайте с кресел, не начинайте устанавливать, „сумасшедший” ли этот человек, лучше послушайте: ОНО ОТВЕЧАЕТ. Отвечает врачам, которые веселятся, теребя половой орган старика-заклученного, больного геморроем.<sup>9</sup> Отвечает той Владимирской тюрьме, где еще сегодня, когда я пишу эти строки, историк Валентин Мороз четвертый месяц ведет голодовку:

После более чем трехмесячной голодовки украинский историк Валентин Мороз находится в состоянии настолько отчаянном, что власти попросили его родителей убедить его прекратить ее, сообщают его парижские друзья. Эти последние боятся, как бы г. Мороз не осуществил свою угрозу покончить с собой 1-го января будущего года, если власти не пойдут на уступки и не переведут его из суровой Владимирской тюрьмы в лагерь. Историк, которого приговорили в 1965 г. к четырем годам лагерных работ, был снова арестован в 1970 г. за критику КГБ (советской полиции), содержащуюся в его неопубликованных работах; его приговорили к четырнадцати годам лишения свободы: из них шесть тюремного заключения, три года лагеря и пять – ссылки.<sup>10</sup>

Мы знаем, как может голодовка столько длиться: при помощи зонда в отказавший желудок извергается горячая кашеобразная масса. Голодающий, связанный, окруженный молчанием, кидает человечеству собственные внутренности, как тот, другой – свой половой орган. Кто безумен, мир или он? Кто говорит? Кто безмолвствует?

Да поможет нам автопортрет Ван Гога с отрезанным ухом взглянуть на такое:

В конце сентября 1961 года, когда нашу камеру вывели на прогулку, Николай жестами спросил, нет ли у кого из нас лезвия. В таких случаях не полагается спрашивать, зачем: просят – значит, надо. Есть у тебя – дай, ни о чем не спрашивая. У меня было три лезвия – еще на десятом, до карцера, я спрятал их в козырьке фуражки. А к вечеру из камеры в камеру пошел слух: Щербаков отрезал себе ухо. Позднее мы узнали подробности. На ухе он сделал наколку: „В подарок 22-му съезду КПСС”. Видимо, наколку он сделал раньше, чем отрезал ухо – иначе истек бы кровью, пока накалывал. Потом, совершив ампутацию, стал стучать в дверь и, когда надзиратель открыл наружную сплошную дверь, Щербаков выбросил ему сквозь решетку свое ухо с теми же словами: „В подарок 22-му съезду!”<sup>11</sup>

Речь идет не об отдельном случае. Татуировка в знак протеста заразительна, и вскоре власти вырабатывают план борьбы с ней. Вот признак потрясений на Архипелаге в новое время, следовавшее за временем, которое описывал Солженицын. Отбросив гипотезу „случаев сумасшествия”, Марченко открывает в них соединение двух форм протеста: уголовной и политической. В наши дни уголовники часто стремятся перейти в другую категорию, стараются получить в лагере второй приговор, на этот раз политический. Они завидуют жребию политзаключенных, ошибочно воображая, что у тех условия лучше (на самом деле они хуже). Впрочем, они стремятся и к чему-то, на деле существующему: к братству. Эти „политики”, вместо того чтобы истреблять друг друга, друг другу помогают – и вот результат: охранники перестают избивать их на людях.

Если взаимопомощь и солидарность являются формами политического протеста, то уголовники вводят другие формы сопротивления, делают собственный вклад:

В политическом лагере он голодает еще больше, чем в уголовном. При случае угодит в карцер, там в дежурке его изобьют надзиратели. Он начинает писать жалобы – и убеждается, что это бесполезно. А срок впереди немалый. А формы протеста он принес с собой из блатного мира, оттуда же привычки и представления.

И вот – наколки.

Я увидел двух бывших уголовников, ныне политических, одного по

кличке Муса, другого Мазай. У них на лбу, на щеках было вытатуировано: „Коммунисты – палачи”, „Коммунисты пьют кровь народа”. Позднее я встречал очень много эзков с подобными изречениями, наколотыми на лицах. Чаще всего крупными буквами через весь лоб: „Раб Хрущева”, „Раб КПСС”.

Здесь же, на спецу, в нашем бараке, сидел один парень, Николай Щербаков. Когда я его увидел из окна в прогулочном дворике, то чуть не упал: на его лице не было живого места. На одной щеке: „Ленин палач”. На другой щеке продолжение: „Из-за него страдают миллионы”. Под глазами: „Хрущев, Брежнев, Ворошилов – палачи”. На худой и бледной шее черной тушью вытатуирована рука, сжимающая его горло, и на кисти буквы „КПСС”, а на большом пальце, упиравшемся в кадык – „КГБ”.<sup>12</sup>

Подарить официальному докладчику при всем лагере букет из колючей проволоки, рискуя карцером, избиением, вторым сроком, быть может, смертью – это нам понятно. Здесь, в крайне тяжелых условиях, перед нами „демонстрация”, „точно рассчитанное действие”, из тех, которые столь презираются и порицаются экспертами от науки управлять. Это не взятие власти, а взятие слова: аудитория взволнована, она смеется, свистит, – происходит коммуникация заключенного с заключенным через голову властей.<sup>13</sup>

В наше время, в конце века, люди демонстрируют „авантюристически”, – собственной кожей, а иногда и собственной жизнью; говорят, последние слова Пьера Оверни были: „Давай, стреляй!” Лоб в баррикадах татуировки, улица в татуировке баррикад – демонстрация происходит по обе стороны железного занавеса. Она не претендует на победу в отношениях чистой силы, на получение власти, на торжество здесь и теперь. Зачем люди делают татуировки? Зачем воздвигают баррикады? Почему столько заключенных бунтует почти без всякой надежды на успех? Зачем Ян Палах? Ради красивого жеста? Оттого что красота коммуникативна? Здесь послушаем еще раз Солженицына:

Так, может быть, это старое триединство Истины, Добра и Красоты – не просто парадная обветшалая формула, как казалось нам в пору

нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трех деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые поросли Истины и Добра задавлены, срублены, не пропускаются, — то, может быть, причудливые, непредсказуемые, неожиданные поросли Красоты пробьются и взвоятся в то же самое место, и так выполнят работу за всех трех?

И тогда не обмолвкой, но пророчеством написано у Достоевского: „Мир спасет красота”<sup>14</sup>

## У истоков познания

Демонстрация красоты и красота демонстрации неразделимы, когда истина присвоена государством, когда доброта осуждена на молчание, ибо ничего не дает для созидания власти. Искусство прямо на коже, чтобы не задохнуться от всемогущества государства. Распинаемые рабы всегда обменивались истинами, от раны к ране; человеческое тело, всегдашний носитель красоты и добра, стало ставкой века: с одной стороны, любовники и скульпторы, с другой — полицейские, пыточных дел мастера.

Если *Капитал* Маркса стал динамитом, то не потому, что Маркс прочел классических экономистов, как наши нынешние теоретики „читают” Маркса. Величие Маркса в том, что он был одним из редких мыслителей, прочитавших отчеты „Комиссии по расследованию детского труда” и измеривших по ним глубину невежества всей предшествовавшей науки. Проклиная буржуа и показывая, „насколько они сволочи”, Маркс приводит Энгельсу в качестве примера обструкцию, которой встречались проекты запрещения детского труда: „Речь идет об отмене пытки полутора миллионов человеческих существ” (подчеркнуто Марксом в письме от 22 июня 1867 г.). Пергаментом, на котором Маркс принялся разбирать правила эксплуатации человека человеком, была кожа эксплуатируемых. К сведению всех мыслителей, которые судят о Солженицыне с высоты своих „теоретических познаний”: пусть сунут нос в главу, посвященную „малолеткам” Архипелага, и попытаются вы-



читать в ней секреты советского общества, подобно тому как Маркс расшифровывал тайны английского капитализма на истерзанных телах пролетарских детей.

Благонамеренная критика в СССР безошибочно почуяла в книгах Солженицына и диссидентов атаку на советское общество, столь же страшную, сколь атака на буржуазию 19-го в., предпринятая тогдашними социалистами. Противопоставление богатых бедным... наши марксисты смутно припоминают, что это может завести весьма далеко, и вот тут-то и есть их больное место:

Странно, что в творчестве А. Солженицына наше общество иногда предстает как бы „разделенным” на „богатых” и „бедных”. „Богатые” угнетают „бедных”, а эти последние пытаются у них вырвать часть богатств. Разумеется, между этими двумя мирами не может быть никакого взаимопонимания. „Разве может тот, кому тепло, понять того, кому холодно?” – говорит Иван Денисович, для которого лагерь тоже делится на „бедных” и „богатых” (причем богатые – это бригадиры, повара, люди типа Цезаря). В рассказе *Случай на станции Кречетовка* некая тетя Фрося объясняет молодому диспетчеру Подшебякину, как выменивать „добро” у эвакуированных: „Бедных я, Валюша, всегда жалею, а богатые пусть на мою жалость не надеются!”<sup>15</sup>

В 19-м веке хозяин, с „лучшим будущим” на устах, прикладывая к сердцу затянутую в перчатку руку, рисовался своим христианством; сегодня его прельщает марксизм. В чем упрекает официальный русский критик одного из персонажей *Ивана Денисовича*? В том, что у него „нет ни тени внутреннего желания понять причины своего тяжелого положения, он даже не пытается узнать о них от лучше информированных людей”. Марксисты выдают себя за этих „лучше информированных людей”, они „больше могут рассказать” об адских коридорах. Благодаря марксизму, рабы 20-го века поймут „причины своего тяжелого положения”.

Нет уж, спасибо! Если когда-то социальная критика, столкнувшись с хозяйским христианством, стала атеистической, то у нее есть веские основания освободиться сегодня от

марксизма, чтобы расшифровать истины, вписанные в раны племса!

Для книг — цензура, для мозга — уколы, для кожи — скальпель хирурга. Раб должен оставаться чистой страницей. Если нужно, его скоблят, как старый пергамент, подготавливавшийся для записи слов нового хозяина. Предпочтительно, чтобы он отчищал себя сам; писателю предписывается уважение к властям, оппозиционеру — признания, татуированный сам обновляет свою эпидерму:

Делал он это так. Берет лезвие и чиркает по тому месту, где надпись — раз, другой, третий, пока не исчиркает все это место. Потом начинает раздирать порезы пальцами, трет долго, весь в крови, уже на лбу не кожа, а какие-то кровавые клочья. Тогда он густо засыпает лоб марганцовкой — специально для этого выдается в санчасти марганцовка, разъедает раны и Воркута корчится и вопит от боли. На другой день лоб у него, припухший, черный, обожженный марганцовкой, начинает нарывать. Зато через некоторое время кожа на месте нарыва облезает, рана зарастает новой. Наколки уже нет, остается только большой безобразный шрам.

И многие татуированные предпочитают сводить свои „антисоветские агитации” вот таким способом, чем оперироваться в больнице: там кожу вырезают без всякого обезболивания, чтобы в другой раз неповадно было колоться.<sup>16</sup>

В речах хозяев остаются пробелы. Плоть не срастается без шрамов, губы становятся на сторону мятежных ран. От края и до края Истории, мученики сообщаются с обездоленными и бесправными. Власти тут бессильны: кожа все равно разговаривает с кожей, влюбленные читают слова друг у друга по губам даже на расстоянии, сироты познают мир, воплощенный в призрачных родителей, женщины дежурят ночью у постели детей, которых у них никогда не будет. Опыт одного народа передается другому, какое бы расстояние их ни разделяло. Хозяева мира так никогда и не завоевали окончательно „драгоценнейшего капитала”, который управляет машинами, повышает прибыли, позволяет процветать извращениям, того, чей пот превращается в золото,

а слезы — в бриллианты: что-то в человеческом теле им по-прежнему неподвластно. Рабы по-прежнему веселят друг друга историями, не имеющими отношения к хозяевам.

Нет смысла дерзко разговаривать со столь внушительным продуктом истории, как СССР. Не только потому, что те, кто довольствуется аристократическим презрением, неминуемо тебя подсократят; прежде всего потому, что „трезвый взгляд” идет снизу. Если экономисту, историку, поэту удастся прочесть по складам одну и ту же истину о России, если те, кто читает собственными глазами и чувствует сердцем, приходят к идентичным выводам, то им это удалось не благодаря подчинению какой-то сверхнауке, делающей сверхтеорию из сверхобъекта, каковым якобы является СССР. Достаточно не отвлекаться цирковыми номерами в виде спутников, которые улучшили жребий советского народа гораздо меньше, чем улучшил жребий французского народа омнибус „Париж — Версаль”, пущенный в ход с большой помпой в царствование Луи-Филиппа. Достаточно пристально смотреть на истерзанные, сопротивляющиеся тела плебеев: это от них узнали экономисты, историки и поэты прошлого века, включая Маркса, те несколько истин, которые передали нам и которые мы теряем из виду, целуя правителей в уста.

Откуда вы взяли, что СССР — страна социалистическая? Что ее деспотизм — „советский”? Из декретов хозяев Кремля? Вы отдали им собственные голоса и головы, не получив ничего взамен; за вашей честно буржуазной проституцией скрывается чисто феодальная приверженность к хозяевам теории и к теории хозяев. Если в идеях 19-го века сегодня сохраняется какой-то смысл, то как же не назвать капиталистическим сапог, грубо топчущий русский народ, и эксплуататоров, наслаждающихся всеми благами, сидя у него на шее? Наш век так дорого заплатил за свои немногие знания о фашизме, — как же не увидеть, не узнать его в бойнях ГУЛага, в режиме, который эти боины скрывает и сохраняет? СССР — страна капиталистическая и фашистская (разумеется, ее разновидность фашизма тоньше, культиви-

рованней, диалектичнее, чем фашизм нацистов, — этих вульгарных подражателей): это написано всеми словами в *Архипелаге ГУЛag* и на телах пытаемых. Вот наши источники, они не отличаются от тех, с которыми консультировался Маркс. Теперь процитируйте ваши источники, о защитники „социализма” в России (пусть даже снабженного „ошибками”). Каковы они? Текст советской Конституции? Заявления последних правителей? Это все равно что составлять историю Третьего Рейха, исходя из того, что единственное достойное веры свидетельство о нем — *Моя борьба*.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Н. Мандельштам: *Воспоминания*, стр. 160.
2. Л. Чуковская: *Спуск под воду*, стр. 95.
3. Н. Мандельштам: *там же*, стр. 160-161.
4. Н. Мандельштам: *Вторая книга*, стр. 201-202.
5. А. Марченко: *Мои показания*, стр. 285-286.
6. А. Солженицын: „Нобелевская лекция 1970 года по литературе”. В: *Собрание сочинений*. Франкфурт, 1973. Т. 6, стр. 352.
7. *Там же*, стр. 358-359.
8. А. Марченко: *там же*, стр. 154.
9. *Там же*, стр. 144.
10. *Монд*, 9 ноября 1974 г.
11. А. Марченко: *там же*, стр. 83-84.
12. *Там же*, стр. 82-83.
13. См. *там же*.
14. А. Солженицын: *там же*, стр. 353.
15. Журнал *Октябрь*, 1962 г., Москва; цитируется по сборнику Эрна Солженицын, Париж, стр. 146.
16. А. Марченко: *там же*, стр. 166.

## Заключение Всегдасмотрящий

„Не знаю, как сейчас, а тогда – в 1961-63 гг. – эти операции производились примитивно: просто вырезался лоскут кожи, а края стягивались и сшивались. Я помню одного ээка, которого трижды оперировали таким образом. В первый раз вырезали со лба полоску с обычной для таких случаев надписью: „Раб Хрущева”. Кожу на лбу стянули грубым швом. Когда зажило, он снова наколол на лбу: „Раб СССР”. Снова положили в больницу, снова сделали операцию. Кожа у него на лбу была так стянута, что он не мог закрывать глаза, мы его называли „всегдасмотрящий”.

А. Марченко, *Мои показания*, стр. 123

СССР – капиталистическая держава, стоящая на насилии, гнусная и террористическая по отношению к подавляющему большинству, более утонченная по отношению к правящей элите: все это давно уже говорилось более или менее изолированными мыслителями.

Однако голоса русского Сопrotивления для нас незаменимы. То, что они не оставляют нам алиби, что мы больше не можем, сидя в изящной позе, кокетливо взвешивать „за” („тяжелая промышленность”) и „против” (миллионы мертвых заключенных) – все это только начало, потрясения продолжаютcя.

Все произошло в эпоху радио, кино, потом телевидения, потом спутников с телеуправлением. После разгрома рабочих и крестьянских восстаний (кронштадтского, тамбовского, движения Махно на Украине) нам пятьдесят лет не хвата-

ло голоса русского сопротивления. Можно было собрать свидетельства, установить факты; ранее составленные „белые книги” о советском концентрационном строе оказались в целом объективными, они грешат скорее робостью в изобличении бесчеловечности, хотя и написаны в большинстве своем в самый разгар „холодной войны”.

Но не хватало главного. Русского пейзажа, увиденного мужиком. Общей картины глазами протестующего рабочего или интеллектуала. Коперниковского переворота, который происходит в головах и сердцах простых людей, когда они обнаруживают, что солнце их страны — концентрационный лагерь. Что все: власть, иерархия, дисциплина, промышленность, сельское хозяйство — вращается вокруг туманности, слагающейся из тюрем, ссылок, трудовых колоний, спецбольниц. Когда они понимают, что нет ни одного высоконаучного пятилетнего плана, ни одного чисто формального экспериментального фильма, ни одной возвышенной книги, которая бы не ютилась в попеременных вдохах и выдохах омерзительного зверя — ГУЛага.

Факты мы могли знать. Оставалось связать их и создать единую картину внутренней жизни в СССР. Чаще всего, почти всегда, нам это не удавалось. „Всякая страна должна пройти через стадию капитализма, СССР не может пропустить этого этапа”. Или так: „Всякая революция ведет к тоталитаристскому террору”. Или еще: „Календарь неотвратим, после революции — Термидор”. И т. д. Бесконечные варианты одного и того же консилиума экспертов, которые выслушивают события и выявляют роковую их неизбежность. Выделят ли они поочередно революционный вирус, микроб „азиатской” отсталости, эпидемию „бюрократизма” или нехватку разных идеологических витаминов — доктора революционных наук довольны, они натеоретизировали необходимое последовательное развитие, которое сильнее нас и тем самым экзотично.

Может быть, в те времена из этого тупика не было никакого выхода. Пока длилось молчание русского Сопротивления, мы были осуждены подводить итоги исторического

опыта, превосходившего наше понимание. Навязанное России молчание делало нас еще большими теоретиками: она проживала революцию — мы ее обдумывали; мы говорили вместо нее с высоты своих чревоучительских теорий. Под нашими окнами, за железным занавесом, в утреннем тумане нового мира жила душа века. Там была необходимость — плохая или хорошая. Здесь было наше понимание — „правое” или „левое”. Наша свобода была наконец понятой русской немой необходимостью: им — жить, нам — извлекать уроки. Еще с первых заиканий мысли молодого Маркса, или с первых робких шагов новейшей русской истории, или с отправки Бога на пенсию (дата не уточнена) ... все можно было предвидеть. Русские — игрушки Рока: экономического, идеологического, политического (и т. д. — здесь опять-таки выбор широк). Идиотизм ремесла ученого: если мы хотим, чтобы наши уроки были вечными, нужно лишь предположить, что они от века вписаны в историю или в умы людей. Если русские хотят понять, какой Рок играет их жизнью, пусть только послушают нас!

У нас было оправдание: они нам ничего не говорили — еще бы! Но сегодня слушаем: может быть, мы обнаружим не экзотический Рок, а очень близкую Россию, не такую „роковую”, как о ней принято думать. Она нас занимает: не она как объект теорий, не мы как ученые мужи, но **она и мы**, части общей истории, истории Запада, капитализма, господства и рабства, эксплуатации и сопротивления.

Русский протест не собирается **комментировать** мнимо неотразимый адский механизм. Он говорит не о неизбежности, а о сопротивлении, которое возможно всегда: в августе 14-го, в 17-м, в 20-м, в 23-м, в 29-м... как и сегодня. Давление правящих сил, использованные или упущенные случаи, невоспринятые предостережения, отказы, согласия — развязка не записана от века. Маленький Власов — начальник жалкого маленького кооператива — выдержал там, где уступил великий Бухарин, „любимец партии”.

Внезапно и мы сами начинаем делить эту **не неизбежную** судьбу. Ложь, царящая в СССР — вовсе не цветок страны



антиподов, она наша собственная. Советский чиновник — член нашей семьи. Не будем весело скользить, множество перекрестков ведут к этой судьбе, так же как и к больнице эпохи Классического Разума, к нацизму, к чилийскому режиму. „Москва — столица восточного деспотизма“? Да бросьте, перечитайте историю цезарей 20-го века, она нам не чужая; скорее „Москва — вершина западного деспотизма“.

Иллюзия и справа, и слева: содрогание нового мира было обманчиво, все эти пятьдесят лет все происходило у нас, в Европе, простирающейся от Атлантики до Колымы.

### Со Сталиным на языке

У цезарей нашего времени душа бесцветна и простовата. Если для того, чтобы разрубить гордиев узел, понадобился характер Александра, то сегодня достаточно быть буржуазным хамом, чтобы пустить в дело известные приемы, применить старые правительственные рецепты и затянуть скользкую петлю на шее общества. При методах, свойственных нашему времени, можно добиться неслыханных результатов.

Обсуждения специалистами по марксизму или по социологии роли индивидуума Сталина в истории СССР, „наивности“ Хрущева, тонкости Тольятти, просвещенные толкования советологами относительного веса и конкурентоспособности начальников, — все эти кропотливые взвешивания на весах из паутины утомительны. Разве Сталин и его преемники свидетельствуют о чем-либо, кроме вечного возвращения испытанных методов западного деспотизма? Способ применения государственной машины — ни для кого не секрет, большевистскому начальству не надо было даже хотеть: достаточно было не сказать „нет“, — остальное прикладывалось.

Не Александр, не Чингиз-Хан, не Борджия. В *Круге первом* у Солженицына Сталин смиренен и предан, он хочет быть ленинистом во всем, за исключением одной детали:

Тут Ленин напутал, только рано это говорить. Каждая кухарка должна управлять государством! Как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать в Облисполком? Кухарка – она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми! – это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам, особоотобранным кадрам, много лет проверенным кадрам, закаленным кадрам, дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках и именно в привычных руках вождя.<sup>1</sup>

Измена Ленину здесь меньше, чем кажется. Ленин свою кухарку часто изображал „азиатской”, отсталой, он обещал долго ее образовывать, прежде чем она сможет управлять государством и учить своих учителей. Ей требовалось время, чтобы переварить „привнесенную извне” теорию. Эту страсть Ленина к педагогике его преемник полностью усвоил. „Народ его любил, да, но у народа было столько недостатков. Как их исправить?” Плебс должен подчиняться абсолютному знанию правителя, от Платона до Сталина. Поскольку кухарке не дозволяется совать нос в государственные дела, приходится государству совать нос в дела кухарки. Сталин слушает своего начальника полиции: „Я бы рад был вам сказать, Иосиф Виссарионович, что дел по террору нет. Но они есть. Мы раскрываем их даже на какой-нибудь вонючей кухне, даже на рынке”.<sup>2</sup>

Не так важна фотографическая точность, как истинность изображения: солженицынский Сталин, как Цезарь Борджия у Макиавелли, наводит на мысли „о роли князя, об отношениях между властью и народом, о конфликтах, которые раздрают правящий класс, об ограниченности рациональных действий”.<sup>3</sup> В этом калейдоскопе образ вождя государства изменился. „Макиавеллистический” Цезарь Борджия фигурировал в „постановке, выявлявшей в решающий момент полное господство актера, а не только его силу и ловкость в отношении жертв”. Напротив, „в решающий момент” нацистской агрессии Сталин, погибая, взмолился к кухарке, которую не переставая мучил и презирал: „Братья и сестры!” – восклицает он по радио в июле 1941 г., употребляя эти запрещенные слова...

От образа хозяина положения Борджия мы переходим к Сталину, зажатому между навязанным народу полицейским мраком и своими марксистскими книгами. („Отовсюду изъяты, преданные анафеме, апокрифические — здесь они выстроились все!”<sup>4</sup>) Европейскому государственному человеку уже давно не нужно больше изобретать государства; наоборот, государство сохраняется в целости в лице политического деятеля; Борджии наследует Сталин, „маленький старичок с высохшим двойным подбородком (которого никогда не показывали на портретах)”, с болезненным цветом лица, с узким, но в основе традиционным вольтеровским умом. „Я никогда не собирался просвещать сапожников и служанок; это удел апостолов” (Вольтер — Д’Аламберу, 1768 г.).

Со Сталиным на языке: не пора ли понять смысл этого? Целое поколение европейских интеллектуалов стыдливо умалчивало об ужасах в СССР, едва соглашаясь подумать о его мнимых „ошибках”. Оправданием этим уверткам служила неудачная острова Сартра — главное, говорили все, не „доводить до отчаяния Бийанкур”. Не Вольтер ли вернулся, притворяясь, что просвещает пролетариев не больше, чем сапожников и служанок? Или, еще хуже: не приписывают ли преступления русского государства пролетариям Бийанкура? Почему, отчаявшись в СССР, пролетарии должны отчаяться в самих себе? Потому что марксисты им рассказывают, что там диктатура пролетариата? Стараясь не доводить до отчаяния Бийанкур, мы сами отчаялись и в Бийанкуре, и в истине.

Сталин, показанный в *Круге первом* как великий объединитель всех видов непротивления государству, в каком-то смысле есть во всех нас. Как и он, мы сомневаемся в кухарках. В великой школе отчаяния марксизм уже давно вышел в учителя. Идея взять государство и сделать его точкой опоры, для того чтобы перевернуть мир, общая для II-го и III-го Интернационалов; надежда экспроприировать экспроприаторов, присвоив государственную машину, общая для реформистов и революционеров; и общая для нас всех идея

организации партии – микрокосма будущего государства, с ее иерархией, дисциплиной, элитарным авторитетом:

Будучи референтами и людьми сведущими, знающими все тайные ходы, многие депутаты умеют, путем отступлений, перифраз и терминологических тонкостей, сделать из самого простого и естественного вопроса священную тайну, ключом к которой владеют только они. Таким образом, честны они или нет, – они все равно добиваются того, что широкие массы (чьими „теоретическими выразителями” они призваны быть) полностью перестают их понимать и за ними следовать... некомпетентность масс является прочнейшим фундаментом власти руководителей.<sup>5</sup>

Добавим к „депутатам” „профсоюзное руководство” и „политические кадры”: тогда в этом описании 1913 г. нечего изменить. Оно верно для всех марксистских партий, существовавших в Европе с этого года и до наших дней.

Эта страсть к организации, свойственная марксизму, охватывает европейское рабочее движение после избиения Парижской Коммуны. Революция снизу представляется провалившейся, ставка делается на „революцию сверху”. Самым надежным путем к социализму кажется прусский путь, несмотря на то, что Маркс резко критиковал проект „народного государства” в Готской программе; немецкие социалисты изымают этот термин, но сохраняют идею в Эрфуртской программе (1890 г.). Маркс умер: да здравствует марксизм! Кто централизует производство и организует распределение, если не народное государство? Кто возьмет бразды правления после изгнания кучки капиталистов-финансистов? Кто же как не глава партии, прообраз будущего правительства? Основатель первой французской „марксистской” партии Жюль Гед пишет своему учителю: „Я убежден, что прежде чем думать о действиях, нужно образовать партию, сознательную армию, при помощи активной и неустанной пропаганды... Думаю, что в течение более или менее долгого периода толчок, руководство должны идти сверху, от тех, кто больше понимает” (1879 г., Марксу). Позднее он утверждает: „Партия держится только дисциплиной... и рас-

считывает только на рабочую централизацию, чтобы сломить централизацию капиталистическую”. На это Каутский откликается с другого берега Рейна „катехизисом социал-демократа”: „организация”, партия, профсоюзы – вот единственный „источник” мощи рабочего движения. Само собой разумеется, организация сильно централизованная, как и будущее государство.

Последнее звено в длинной цепи явлений, сообщающих глубоко консервативный характер интимной сущности политической партии, даже если она украшает себя титулом „революционная” – это ее отношения с государством.

Рабочая партия, возникшая для того, чтобы разгромить централизаторскую мощь государства, партия, считавшая, что для победы над организацией государства рабочему классу нужна лишь достаточно прочная и широкая организация, – эта партия кончила тем, что сама централизовалась, причем на той же основе, что и государство: авторитет и дисциплина. Таким образом, она стала частью правительства; иначе говоря, будучи организована как правительство в уменьшенном масштабе, она надеется когда-нибудь стать правительством в натуральную величину. Революционная политическая партия есть государство в государстве.<sup>6</sup>

## **Искусство быть отображением**

„Партия” противится, подражая, тогда как русское государство подражает, противясь; марксизм организуется не „абы как”, а отражая. Партия, это „пролетаризованное” отражение буржуазного государства, может быть и у власти, и в оппозиции, не меняя коренным образом своей структуры: она уже сформирована как буржуазная администрация. При каждом прикосновении к власти европейские марксисты укрепляли, даже спасали близнеца: буржуазное государство. Они тоже умеют прекращать забастовки, а при случае и стрелять в толпу. Пролетарской же революции нет и следа.

Мнимое исключение – русская Октябрьская революция

17-го года – подтверждает правило. Ленинская партия, со своей жесткой централизацией и подпольностью, все равно создана по образцу западных марксистских организаций; это отражение отражений буржуазного государства; она противопоставляет себя не буржуазному государству, как остальные, а царистской автократии. В царство марксистской симметрии невольно вносится асимметрия: буржуазная организация не может опрокинуть буржуазное государство, но зато оказывается эффективным средством борьбы с более старыми режимами. Именно с этого момента Ленин и оказывается незаметно в стране чудес. До 1917 г. он собирался совершить буржуазную революцию при „демократической диктатуре крестьянства”; начиная с октября 17-го года, он, Троцкий и Центральный комитет единодушно начинают без конца ссылаться на великих предков 1793 г.; они притязают на свершение пролетарской революции под якобинским руководством.

Имитируется все: и сильные стороны, и ограниченность буржуа 93-го года. Вновь появляется дерзость, революционный энтузиазм, подъем в массах, слово, становящееся делом. Но вместе с тем большевики перенимают у якобинцев административный стиль (решения выносятся сверху и из Столицы) и военную стратегию (примат централизации, техники, наступления: Тухачевский учит немцев „молниеносной войне” – народная сторона войны и армии упоминается лишь для проформы).

Третье якобинское оружие, излюбленное большевиками – политический, чекистский террор. Солженицын суров к нему, но не более, чем были суровы Маркс и Энгельс, обрушивавшие громы и молнии на политику гильотины:

Мы воображаем, что террор – это царство тех, кто распространяет ужас. Однако это, напротив, царство тех, кто сам дрожит от ужаса. Террор – это в значительной степени лишь ненужные жестокости, производимые людьми, которые сами напуганы и пытаются таким образом придать себе уверенности. (Энгельс Марксу, 1870 г.)

К концу гражданской войны русского рабочего класса больше нет: одни мертвы, другие заняли места в аппарате, третьи, оголодав, вернулись на землю. Эка невидаль, господа Теория, мы вам наделаем новых! Остаются уже разложившийся якобинский аппарат и крестьянство, уставшее от множества паразитов, замышляющих все новые и новые беды. Кровавая свадьба. Малыши, давайте-ка назовем это „социализмом“, и пусть оно попрыгает!

Перескочив через века, наши якобинцы поменяли римскую аффектацию на пролетарскую кожанку; точно так же они одеваются и в иллюзии: преобразуемого ими мира они не видят; а мир этот, с его вечными истинами, преобразовать невозможно. Они не гнутся, как сама справедливость... и как их собственные трупы.

Ленин и Троцкий не делали тайны из своего якобинского происхождения; узаконивая их право наследования, тонкий знаток французской Революции историк Матъез писал в 1920 году:

История никогда не повторяется в точности, но обнаруженное при анализе сходство между великими кризисами 1793 и 1917 годов не является ни случайным, ни поверхностным. Русские революционеры добровольно и сознательно подражают французским. Их одушевляет один и тот же энтузиазм. Они существуют в аналогичной атмосфере, среди одних и тех же проблем. Времена различны. Цивилизация прошла с тех пор уже век с четвертью. Но Россия, благодаря своей отсталости, похожа больше, чем принято думать, на сельскохозяйственную и неграмотную страну, какой была Франция в конце 18-го в. Будет весьма любопытно и поучительно, если обе революции до самого конца будут идти в одинаковом ритме.<sup>7</sup>

Ничего удивительного в этом нет. Якобинская диктатура порождает буржуазное общество, которое при первой возможности посылает эту диктатуру подальше; на вопрос историка изображенный романистом Сталин отвечает:

Вот кто молодец был – Бонапарт. Не побоялся лая из якобинских подворотен, объявил себя императором – и кончено дело. В слове „император“ ничего плохого нет, это значит – повелитель, начальник.<sup>8</sup>

СССР стоит на стыке тех, кто устанавливает буржуазное государство, и тех, кто его восстанавливает, между двумя осуществляемыми сверху террорами: якобинским и нацистским. Он стоит на стыке, со своим законом о подозрительных и со своими лагерями, под знаменем марксизма и 58-ой статьи. Не азиатский деспотизм, а Запад изобрел больницу, гильотину и окупаемость подневольного труда. Теперь ему не хочется узнавать в русском отражении собственную историю. Светлые умы, ездившие к большевикам в 20-е годы, выявили в них наследников старой Европы, ее платонизма (Расселл), ее якобинства (Матъез), ее индустриализации (что до Ленина, то он открыто брал за образец Ратнау и Тейлора). Ныне, когда открывшийся нам лик ужасен, мы боимся найти в нем собственные черты.

В этом родстве нет ничего странного. Зарождающийся марксизм пропагандирует идею „народного государства” и почитает в лице Маркса святого покровителя социализма а ля Бисмарк, при котором правительство регулирует производство и распределение и раздает награды. Эта моральная, политическая, социальная **популяризация** буржуазного строя открывает перед „марксистской” партией три возможности:

- безоружной оппозиции, пока государство прочно;
- участия, когда с криком о помощи государство расширяет комедию выборов или украшается различными оттенками социал-фашизма (о Носке, Муссолини...);
- взятия власти, если буржуазное государство еще нужно создать. Россия, должным образом вестернизированная, за 50 лет покрывает три века преступной истории европейских государств, да еще вдобавок вынуждена терпеть марксистскую болтовню. Совершенно естественно обнаружить, что из конца в конец европейский марксизм утверждается в качестве модернистского культа государства, этатизма 20-го века.

Ссылается ли марксизм на социализм? Каждый раз он



говорит нам о государстве, его мир давно вращается вокруг этого солнца, его революции заключаются в завоевании этого центрального положения, а завершаются в момент, когда глава партии может, наконец, изречь: „Государство – это я”.

Не о буржуа и марксисте ли говорил Сервантес, рассказывая нам о похищении фермера, потерявшего осла? Другой фермер увидел животное на холме; оба идут туда, заходят с разных сторон, чтобы осел от них не ушел, начинают реветь по-ослиному, чтобы его приманить, и хватают друг друга, думая, что поймали осла... Повторив эту операцию, они, раздосадованные, расходятся; став впоследствии алькальдами в своей деревне, они призывают сограждан для разрешения своей распри: „Это ты осел; нет, ты”.

И не без удивления  
Все услышали,  
Как наши алькальды  
Заревели по-ослиному.

Признанный всеми буржуа отказывается видеть в русском зеркале отражение собственного прошлого и собственных постоянных искушений; учитывая его лестное мнение о самом себе, в этом нет ничего удивительного. Точно так же слеп к этому отражению и европейский марксист; ему даже не надо идеализировать Советский Союз, он может при случае и поднять его на смех; как бы то ни было, капитализм – это „совсем другое”. 20-й век пустил в ход критику капитализма, трогательную по упрощенчеству, узости и безвредности. „Забывая”, что все социалисты прошлого века, включая Маркса, рассматривали капитализм прежде всего как систему господства и эксплуатации, мы „знаем”, что капитализм есть частная собственность, – и точка. Ну, а все современные государства торопятся присвоить это определение, привлеченные возможностью с удовольствием объявить себя тоже более или менее социалистическими: для этого достаточно приняться за национализацию культуры, торговли и промышленности – дорогу покажет СССР.

Экономика, делающая меркой всякого богатства труд, проявляет тенденцию к заточению бедняков; якобинец пре-

вращается в нациста; педагог становится шпиком. Неужели нужны чудеса научной диалектики, чтобы все это объяснить: пролетариев, бретонского крестьянина — когда-то участника Вандеи, ныне участника движения протеста — ребенка, носящего свои нули за поведение, как ордена? Русская картина отражает Европу; на одной шестой земного шара „величайшие революционеры всех времен” просто-напросто разыграли „паноптикум” — эту утопию самого мелко-буржуазного и уныло морализаторского из всех английских мыслителей 3-ей зоны:

Слово и понятие „паноптикум” изобрел Джереми Бентам в 1792 г., на тридцать лет позже *Эмilia*. Так называлась образцовая тюрьма, без пыток и кар, настоящая либеральная воспитательная тюрьма. Она круговой формы, ряды камер выходят внутрь, во двор, где возвышается наблюдательная башня. Тюрьма построена так, что узник не может ни на мгновение скрыться от взгляда находящегося в башне надзирателя, тогда как этот последний, все видя и слыша, остается невидимым. Здесь перед нами принцип абсолютного надзора, взгляд, который, не прибегая к видимому принуждению, — ибо ничего не запрещает — подавляет больше, чем самое жестокое притеснение. Узник, находящийся под таким надзором и знающий о нем, не замедлит исправиться, принять нравственный закон: „Узники, помещенные под надзор, потеряют возможность творить зло и почти забудут о том, что можно желать его творить”.<sup>9</sup>

Разумеется, наш более материалистичный ГУЛаг не пренебрегает ни притеснениями, ни побоями, однако он не упускает случая применить на практике „активный” педагогический принцип маленьких философов капиталистической Англии.

Игра отражений: выбрать, встать на сторону — значит примкнуть к партии, выбрать государство; считается противоречием демонстрировать одновременно против американского Вьетнама и советской Колымы. Такова точка зрения государства, замочная скважина, через которую охранники учат нас смотреть на мир. Мир, сведенный к их вонючей роже.

История государств и история народов — это две разные вещи. Государство пыжится, кичась рабовладельческой культурой, провозглашая логику господства, которая всегда царила на Западе и которой современный капитализм предоставил крайние мыслимые возможности — Бомбу и Лагерь — чтобы стать единственной в мире. Государство против государства: разве не является всякая внутренняя оппозиция заговором иностранного или будущего государства? Эскалацией, разворачивающей перед внутренним взором любого чудовища с холодной кровью картину будущего атомного „тет-а-тета“? И эти динозавры глаза будут проникать в сердца и печенки, прошупывать наши любовные дела и религиозные верования, наш смех и нежность, прошлое и будущее человечества?

Существует другая история: история иванов и матрен, история жаков. История девушки, которая под напором ученых схоластов объясняла свои деяния одной-единственной причиной: „Жалостью к королевству французскому“ — и еще тем, что „при виде крови француза у меня каждый раз волосы поднимаются дыбом“. Российские Жанны: Солженицын воздал должное памяти некоторых из тех, кто помешал конечному торжеству великой промывки мозгов.

Звеном в этой плебейской истории была пророческая Парижская Коммуна:

Коммуна была направлена не против какой-то формы государственной власти: легитимистской, конституционной, республиканской или императорской. Это была революция, направленная против государства как такового, против этого чудовищного выродка общества; она была воскрешением подлинной общественной жизни народа, осуществляемой народом...<sup>10</sup>

Весь этот марксизм Маркса подсказан реальным событием; увлеченный водоворотом парижского восстания, он отводит в нем место вдохновению и воскрешению.

История плебса и история государства выступают друг против друга, но они не симметричны друг другу. Они руководствуются разными стремлениями и не оспаривают друг у друга одних и тех же побед. Симпатию народа, писал Макиавелли, легко завоевать, ибо народ „желает только одного: вовсе не быть угнетаемым”. 500 лет назад этим подкреплялся его совет князю опираться на простонародье против вельмож. Нужно было развеять иллюзию, которая еще и сегодня держит в плену политиков и даже является иллюзией по преимуществу политической, поскольку мы все еще пытаемся игнорировать тот факт, что

антагонистические классы имеют разную природу, что, в отличие от государств, соперничество которых подразумевает одну сущность и одни цели – независимо от соотношения сил – они существуют только в состоянии столкновения за ставку, которой для одних является угнетение, а для других – неповиновение этому угнетению.<sup>11</sup>

История плебса определяется не желанием чего-то – власти, богатства, почестей – она целиком укладывается в желание „вовсе не быть угнетаемым”.

Иван Денисович отказывается бросить работу на земле ради того, чтобы „выдвинуться”; западный пролетарий в какой-то момент всегда решал остаться таким как есть, потому что ему противно было становиться мелким начальником или осведомителем, диссиденты пытаются вынудить государство снять осаду с сердец и голов: нужно признать и понять, что история нашего века определяется желанием вовсе не быть угнетаемым.<sup>12</sup> Это желание взрывается в великие моменты, ускользающие от крупных организаций: таков во Франции стихийный и карнавальным захват заводов в 36-м году, Соппротивление, май 68-го года. Это желание проявляется в индивидуальных мятежах, во внешне изолированных „Коммунах”, благодаря которым живые народные источники ежедневно ускользают от государства, стремящегося распределить их по надлежащим каналам.

История Европы, взятая вне ее марксистской интерпрета-

ции и сибирского тупика, показывает, что неправда, будто нынешние хозяева и владельцы богатств автоматически гарантируют индивидууму так называемые „формальные” свободы. Они прекрасно обходятся без них, что доказывают разные виды фашизма в нашем веке, и если устранение свобод стоит им слишком дорого, они насколько можно их урезают. Свести права человека к правилам игры буржуазного экономического рынка — значит слишком многим пожертвовать во имя блестящих, легковесных и столь неуклюжих формулировок молодого Маркса. Ни английская буржуазия того времени, ни — позднее — немецкая, ни — в наши дни — советская, вовсе не собираются провозглашать права человека и гражданина, чтобы лучше эксплуатировать рынки.

Свести права человека к правам крупного собственника? Всякий имущий класс пытался это сделать — до, во время и после каждой революции. Русские „менеджеры” тоже не отказываются от этого кровавого автоматизма. Однако человеческая сторона гражданских прав — прав не собственника или чиновника, а гражданина — приходит не от них, а от „эмоций” плебса 1789 г. Вот момент, когда его стремление вовсе не быть угнетаемым проявилось как стремление к свободе. Момент, когда конституция 93 года, сразу же отсроченная, объявила восстание снизу „первейшим долгом и самым неотчуждаемым из прав”.

Это восстание, сильно отличающееся от якобинского, 20-й век вновь обнаружил на татуированном лбу русского узника или внутри коммуны, на миг победившей политико-экономическую машину, как это было в Липе. Право на восстание вооружено свободами, так никогда и не достигнутыми, но все вновь воскрешаемыми к жизни: „на Западе у людей есть забастовки, демонстрации протеста, но мы слишком задавлены...”<sup>13</sup>

Дай Бог, чтобы русские диссиденты вернули нас к нашей собственной истории и напомнили, что демократия рождается и живет возможностью ежедневно восставать против законов власть имущих — иначе в одно прекрасное утро затер-

роризированный человек проснется с вопросом: „Как же так, вдруг, отказаться работать? Как это так — выйти на улицу!”<sup>14</sup> Улица, забастовка, свобода мнений: вот исторические вольности, на завоевание которых европейский плебс потратил все свои силы. Властители ожесточенно стараются лишить эти свободы всякой истинной народности, но не может быть и речи о том, чтобы отбросить их, как пустые раковины, ибо сама уже обязанность уважать их препятствует появлению концлагерей. На небе и на земле больше несчастий, чем могут себе представить молодые марксы.

Желание вовсе не быть угнетаемым — внешне чисто негативное желание: ведь „вовсе не быть” означает „не быть вовсе”. Так нас пытается заставить думать современное государство, теоретики которого вскользь замечают, что желание вовсе не быть угнетаемым сводится к желанию либо властвовать, либо быть ничем, тем **ничем**, которое заточают. Да, за исключением того, что властвовать — означает все равно быть под властью других властителей или под властью тревог, связанных со всяким властвованием. Есть случаи, когда желание вовсе не быть угнетаемым оказывается желанием вовсе не быть государством, когда люди начинают жить вне государства, когда там, где кончается государство, начинается человек.

Действительно, желание вовсе не быть угнетаемым плохо защищается от преследований и в катакомбах древнего Рима, и на улицах восставшего Парижа, и в полярных пустынях Колымы. Однако оно не исчезает. Верно и то, что сама длительность его существования может оборачиваться против него: сколько братских могил вырыли мы во имя всеобщего братства? И все же протест продолжает жить. Разрушение государства произойдет не завтра? Пусть: главное — что оно давно началось, что эта задача из века в век придает нашей жизни смысл и что никому никогда не удавалось полностью это разрушение остановить, даже в России...

Никогда люди не глядели печальней и упорней на тот крохотный голубой шатер, который мы, узники, называем небом, и на каждое

счастливого облачко, проплывавшее по нему с такой непостижимой свободой.<sup>15</sup>

Париж, январь 1975 г.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Солженицын: *В круге первом*, стр. 87.
2. *Там же*, стр. 99.
3. К. Лефорт: *Творчество Макиавелли*. NRF, стр. 68.
4. А. Солженицын: *там же*, стр. 105.
5. Р. Митчелз: *Политические партии*. Париж, Flammarion, стр. 78-79.
6. *Там же*, стр. 273-274.
7. Матез: *Большевизм и якобинство*. Париж, 1920, стр. 22.
8. А. Солженицын: *там же*, стр. 102.
9. Р. Шерер: *Извращенный Эмиль*, стр. 43.
10. Маркс: *О Коммуне*, черновик.
11. К. Лефорт: *там же*, стр. 385.
12. Это желание – ключ к истории русского государства и его „угодий”: именно крупные забастовки-бунты русских заключенных около 1953 г. вынудили режим ослабить давление; пора было перестраивать лагерную систему, сделать ее более селективной, более хитрой, более „современной”, но не менее бесчеловечной. В ожидании продолжения *Архипелага ГУЛаг* см.: Р. Бартон: *Концентрационная система в России, 1930 – 1957*; *Самиздат 1*; К. Желан: *Нормализованные*.
13. А. Солженицын: *Письмо вождям*.
14. *Там же*.
15. О. Уайлд: *Баллада Редингской тюрьмы*.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Интервью с Андре Глюксманом

**Вопрос.** Андре, перед нами твоя последняя книга — *Язык войны*. В эту книгу, кроме переиздания *Языка войны* как такового, вошел новый текст — „Европа, год 2004”. В надписи на экземпляре, подаренном Максимову, ты подчеркнул, что эволюцией, которую ты прошел между двумя этими текстами, ты обязан диссидентству. Что конкретно ты имел в виду? Для нас и для наших друзей на родине этот вопрос важен вдвойне: наши действия ожидают практического отклика — прежде всего, в области защиты наших политзаключенных; но не менее важно нам знать — и именно на это мы хотим получить от тебя ответ, — понят ли здесь, на Западе, пусть еще немногими людьми, сам смысл борьбы за права человека, которую ведут диссиденты?

**Ответ.** Я думаю, что важно говорить именно об эволюции. Нередко на Западе говорят об интеллигентах, испытавших влияние диссидентства — в первую очередь, советского, но также польского и чешского, — как о людях, совершивших разворот на 180°. Я сказал бы, что это не так: не то что мы вместо „революционного” взгляда на мир приобрели „контрреволюционный”...

**Вопрос.** А тебе не кажется, что такой переход был бы скорее поворотом на 360°?

**Ответ.** Вот именно, это был бы переход от прежнего к тому же самому, и эволюция такого рода тоже существует и тоже характерна — и возникла гораздо раньше марксизма. Со времен Французской революции развитие европейского буржуа таким и было: в 20 лет он сражался на баррикадах, в 30 — дожидался приема в министерствах, в 40 — становился министром. Ближе к нашему времени аналогичный вираж на 180°, который на самом деле является виражом на 360°, поворотом вокруг собственной оси, описали многие идеологи холодной войны, которые были ультрареволюционерами,



ультрабольшевиками между 20 и 25-ю годами — пусть даже большевиками-оппозиционерами, т. е. троцкистами, — а годам к 30-ти, „поумнев”, стали ультраапостолами холодной войны. На мой взгляд, в Западной Европе, под прямым влиянием диссидентов из России и восточноевропейских стран, эволюция была иной. Это и была эволюция в истинном смысле слова: диссидентство принесло нам расширение горизонта.

Моя последняя книга — это, во-первых, переиздание книги, написанной в 1967 г., задуманной как антиколониалистская и исследующей американскую стратегию во вьетнамской войне.

Разумеется, я больше не пишу подобных вещей, и в этом смысле можно говорить о выражах и градусах, но суть в том, что диссидентство заставило нас генерализовать наш односторонний угол зрения. Это не значит, что мы отвергли свой антиколониализм, — говоря „мы”, я говорю прежде всего за себя, но, пожалуй, и за многих своих товарищей, друзей, приятелей, — наоборот, мы пришли к тому, что „антизападный антиколониализм” близорук, недостаточен, потому что колониализм — как сказать? русский? нет, я не могу сказать „русский” — советский куда сильнее западного, следовательно, наш антиколониальный бунт должен стать генеральным, нацеленным и в этот, почти никем не затрагиваемый советский колониализм или с тем же успехом в китайский колониализм, ибо не его ли мы видим в Тибете? Не приходится выбирать, какой колониализм лучше: марксистско-китайский или марксистско-советский. Прокитайская Камбоджа достигла рекордов в геноциде. Значит, марксистский колониализм должен был стать мишенью для нашего антиколониализма, а это означало, что и мы сами должны были перемениться, ибо „ветхий” антиколониализм, „первый” антиколониализм был окрашен в цвета марксизма и направлен принципиально против Запада.

Пример Камбоджи дает реальное обоснование генерализации моей критики. Взглянем на историю Камбоджи. Это была сравнительно мирная и сравнительно счастливая страна

еще в 1970 году, даже несмотря на то, что часть ее территории была захвачена вьетнамскими коммунистами и использовалась ими как военная база. Население Камбоджи спокойно жило под властью короля, которого оно более или менее почитало; еще больше оно, кажется, почитало Сианука; существовала, конечно, некоторая коррупция, уже вошедшая в нравы, но несравнимо более приемлемая, чем все, что потом последовало. Королевский режим был свергнут американцами и их людьми и заменен демократической республикой, которая первым делом принялась преследовать сторонников Сианука, а поскольку они составляли большинство населения, дела обернулись плохо: довольно фашистского толка режим вынужден был опираться опять-таки на бомбардировки, причем как на американскую, так и на вьетнамскую авиацию. Неизвестна точная цифра погибших, но она где-то в пределах между 500 тысячами и миллионом. Затем установился режим „красных кхмеров”, прокитайских коммунистов, приведенных, впрочем, к власти просоветскими коммунистическими армиями Северного Вьетнама. Сами красные кхмеры, крохотная группировка, были бы ничто без этой военной силы. И вот, став у власти, они организовали, вероятно, самый огромный геноцид со времен европейского геноцида, уничтожили два или три миллиона человек. Лицом к лицу с прокитайским режимом вьетнамские коммунисты, сама компартия Вьетнама праздновали победу красных кхмеров, праздновали начавшееся обезлюденье Камбоджи, праздновали выселение 2-3 миллионов жителей Пномпеня: в трехдневный срок были выселены все, даже больные, даже те, кого только что оперировали, даже дети, даже инвалиды. И все это одобрялось коммунистами, в том числе просоветскими, но не только ими. Целый мир либо одобрял эти действия, либо обошел их молчанием. Например, во французской прессе, в таких изданиях, которые никак не заподозришь в получении приказов из Москвы, были комментарии вполне сочувственные: ах, мол, эти камбоджийцы нашли решение важнейшей проблеме — проблеме городов в странах третьего мира. Некоторые

весьма милые французы рассуждали так: что же, камбоджийцы снесли голову одной из этих огромных столиц, этих раковых опухолей третьего мира, точно так же, как мы когда-то снесли голову Людовику XVI. И до самого конца атмосфера благоприятствовала красным кхмерам: не было серьезных протестов. ООН не вмешивалась, и они могли без особых затруднений уничтожить два или три миллиона людей.

Вьетнамская интервенция способна только продолжить массовое уничтожение, ибо вызвала национальную войну: камбоджийцы не переносят иностранной власти, тем более власти их исконных врагов — вьетнамцев. Значит, еще, еще и еще кровь будет пролита страной, без того уже обескровленной. И выходит, что Камбоджа оказывается жутким примером правомерности обобщения *Языка войны*, генерализации правительственных стратегий террора. Американцы начали свержением прежнего режима, новый фашиствующий режим повел массовое уничтожение, затем прокитайские кхмеры, затем вьетнамские коммунисты; наконец, когда беженцы вырываются из этой мясорубки и достигают соседнего антикоммунистического Таиланда — таиландский военный антикоммунистический режим, опирающийся на поддержку американцев, изгоняет десятки тысяч беженцев обратно. Круг замыкается: мы видим, что даже страны, которые, возможно, рискнут воевать друг с другом, — Таиланд и Вьетнам, — даже эти страны, готовые насмерть стоять друг против друга, по отношению к населению ведут себя совершенно одинаково.

**Вопрос.** Сейчас было бы естественно прямо перейти к проблеме индокитайских беженцев, которая превратилась едва ли не в основную мировую проблему и в практическом решении которой ты активно участвуешь. Но позволь сначала задать тебе один как бы побочный вопрос. Это вопрос о твоём, о вашем французском маоизме конца шестидесятых — начала семидесятых годов. Ты знаешь, что среди наших французских друзей экс-маоисты — не редкость, и, насколько мы знаем, наши соотечественники бывают этим удивлены. Для них — включая наших близких друзей и единомышленников — это

выглядит смешным: видите ли, бывшие маоисты покаялись или совершили тот самый „вираж” на сколько-то градусов... Личные контакты, дружба, кажется, позволяют нам видеть суть вашей эволюции. Но не можешь ли ты объяснить, каковы были корни вашего маоизма?

**Ответ.** Прежде всего – удивляясь, люди совершенно правы. Конечно, воображать, что никто не должен менять своих взглядов, – это, сказал бы я, удивление не лучшего рода. Тем не менее, изменяя взгляды, исходишь всегда из какого-то накопившегося числа удивлений, так что если кто-то удивлен, то мы сами удивились первыми. Первые страницы моей книги *Кухарка и людоед* – ее, если хотите, можно назвать виражом – говорят как раз о том, что на взгляд диссидентов мы выгладим смешными и что мы смешны и на самом деле. Верно ведь? Я это в свое время и говорил, и писал. Я думаю, что, набираясь жизненного опыта, если он достаточно глубок, всегда переживаешь удивление и, следовательно, если этот опыт воистину удивителен, если это удивление по-настоящему возбуждает нашу заинтересованность, мы и сами не можем помешать себе чувствовать себя прежних смешными. Зато еще смешнее было бы думать, что мы сегодняшние никогда не покажемся смешными себе в будущем. Недостаточно попросту выучиться находить смешным свое прошлое – следует уметь ощущать свою ежедневную потенциальную смехотворность. Так что по-настоящему признать и принять удивление – это одновременно и философия, и смехотворность того, кто философствует, поскольку он меняет взгляды и поскольку, если бы он их не менял, он был бы совершенно неспособен философствовать, да и попросту мыслить. Может быть, это в какой-то степени объясняет, что среди друзей диссидентов во Франции нередки бывшие маоисты и гошисты.

Надо еще, наверное, объяснить вашим русским друзьям, что французский маоизм – нечто совершенно особое. Он, к тому же, имеет много разновидностей, но тот, о котором мы говорим, маоизм 60-х годов, специфичен, потому что оба его корня типично французские. Первый корень – анти-

колониальный: у Франции были свои колониальные проблемы, после 1945 г. у нее их было больше, чем у любой другой западной страны. Это мы, Франция, начали индокитайскую войну, не имея никаких разумных причин, мы ухитрились проводить самую дурную колониализацию — по сравнению с Англией, Франция делала одну глупость за другой, и если сегодня происходит массовое уничтожение в Индокитае, то это, в частности, и потому, что в свое время Франция действовала так глупо, так скудоумно, как только можно вообразить. Когда Солженицын в Гарвардской речи упоминает, что европейская авантюра колониализма была недостойной, можно прибавить, что с 45-го года Франция была героем, печальным героем, Дон Кихотом этой авантюры и что, действуй она более умно, Индокитай не оказался бы в его нынешнем положении. И мало-помалу во Франции складывалась сильная антиколониальная направленность. Среди самых радикальных антиколониалистов нашлось немало заинтересованных различными методами ведения колониальных войн, и Мао Цзе-дун был для них, в первую очередь, великим стратегом антиколониальной войны.

Второй корень французского маоизма ближе к нашему времени — это май 68-го года, бунтарское движение во Франции. Французский бунт — это опять-таки нечто особое: единственный антикоммунистический бунт среди многочисленных студенческих волнений на Западе. С первых дней мая 68-го Даниэль Кон-Бендит называл главу коммунистических профсоюзов, т. е. крупнейшего профсоюзного объединения Франции, главу компартии, т. е. в то время крупнейшей левой партии Франции, не иначе как сталинскими подонками. Перед огромной толпой студентов у Сорбонны он резко оборвал „величайшего французского поэта” — Арагона, заявив ему: „Слушай, в тебе не нуждаются. На твоих седых волосах кровь, ты кричал „Ура, Урал!” — ура лагерям. Или ты принесешь объяснения, как ты мог такое делать, и тогда мы готовы с тобою спорить, или ты промолчишь, и тогда нам не нужна твоя поддержка”. И Арагон ушел. Так студенческий бунт во Франции был с самого

начала антикоммунистическим, и это еще усилилось у тех студентов, что захотели пойти на заводы: оказалось, что коммунистические профсоюзы хорошо стерегут свои уголья и делают все, чтобы не допустить дискуссии между студентами и молодыми рабочими, с одной стороны, и с другой — профсоюзами и партиями, которые хоть и не стоят во Франции у власти, но на заводах и в муниципалитетах обладают реальной властью. Конечно, они осуществляют эту власть более демократически, чем в СССР, потому что у них нет ни армии, ни центральной полиции, но голова у них при этом работает в ту же сторону. Так что, если мы, разумеется, никогда не имели опыта ГУЛага, мы имели опыт сталинской ментальности, совсем рядом, рукой подать: мы имели самую сталинскую из всех легальных компартий Западной Европы (испанская и португальская были тогда в подполье). Напомню, что Мориса Тореза, который долго был ее генеральным секретарем, восхваляли, говоря: „Это лучший сталинец Франции”.

Этот-то опыт и был второй, слегка идиотской причиной нашего маоизма: это была причина стать прокитайски настроенными, поскольку, пока марксизм в целом не подвергался сомнению, подвергали сомнению советский марксизм и, выбирая линию наименьшего сопротивления, говорили: раз советский марксизм плох — должно быть, китайский марксизм, подвергающий его самой жестокой критике, лучше. И после мая 68-го мы воображали себе Китай как гигантский майский Париж, а наши представления о культурной революции, в общем, складывались из идей мая 68-го, перенесенных в Китай. Мы никогда не слушались ничьих приказов, не были членами „марксистско-ленинских” партий,\* сохраняли свой бунтарский дух, и Мао был для нас своего рода символом, знаком, как и Че Гевара, то есть

\* Большинство маоистских партий (по несколько крохотных в каждой стране), чтобы отличить себя от просоветских, традиционных компартий, принимает этикетку „марксистско-ленинских”. — Прим. редакции *Континента*

больше образом, чем центром, откуда идут приказы. Мы были слишком недисциплинированными, чтобы получать приказы, и серьезные марксисты прозвали нас анархо-маоистами. Этот анархизм и защитил нас от полного маоистского догматизма. Тем не менее, после мая 68-го мы сделали короткий, но полный опыт того, что такое партия и что такое дух марксистской партии. Поскольку мы не зависели ни от Китая, ни от Москвы, ни от кого, кроме себя самих, мы, руководимые своими собственными побуждениями, прошли тот маршрут, на который компартии положили по 30, 40, 50 лет, ибо, подчиняясь приказам из-за границы, они не так быстро наживали собственный опыт. наших Троцких, Сталиных, Мао, наши бардаки и нашу бюрократию — все это мы принесли себе сами, будучи маленькими группами и, следовательно, вырабатывая все это со страшной скоростью, как в лаборатории. Весь тот опыт, который другим народам пришлось пережить куда более трагическим и жестоким образом.

Я не думаю, что наш молекулярный опыт чересчур оригинален, но в нем была позитивность. Подобный опыт описан Солженицыным в *Круге*, только там этот опыт непомернее, яснее, подробнее и длительнее, — это путь интеллигента, который начинается с восхищения перед гигантами мысли, перед Марксом, Гегелем и компанией. На этом пути интеллигент отдает себя идее, затем обнаруживает, что гиганты мысли хрупки при серьезном испытании, вновь принимается мечтать о Рабочем (который служит мишенью для его промахов), потом замечает, что рабочий — такой же человек, как и все, и что он сам так же, как все, способен на наилучшие подлости, и мало-помалу глаза его раскрываются на то, что все зависит от отдельных людей, а не от Мыслителя, не от Рабочего. Вот он, щелчок переведенной стрелки, положительный выход из тупика, к которому приходит Нержин. В каком-то роде — скромнее, конечно, — некоторые из нас узнали себя в этом великом примере Нержина. В других странах: в Италии, в Японии — это прошло хуже, стрелка щелкнула в направлении, противоположном нержинскому,

и этот опыт тоже описан русским писателем. Но это описано задолго до нас и называется *Бесы*. Перечитав *Бесы*, я понял, чего мы избежали. И тут опять мы чувствуем огромную близость с диссидентами. По существу, у всех проблем одни и те же истоки, о них писал Достоевский, писал Солженицын, пишет в своей последней книге Буковский. Он рассказывает как раз о той дискуссии, которая волнует сейчас гошистов, дискуссии о терроризме, о том, как между 1960 и 1965 гг. диссиденты сделали выбор в пользу тактики прав человека, а не террористской тактики. Этот вопрос стоит и у нас.

**Вопрос.** Прости, что касается терминологии – ты употребил слово „тактика”. У нас иногда идут споры: защита прав человека – тактика это или стратегия? Нам, видящим в этом принципиальную позицию, случалось слышать возражения, что это всего лишь удобная временная тактика, но никак не стратегия. Что ты думаешь об этом?

**Ответ.** Говоря „тактика”, обычно имеют в виду: „это только тактика”, то есть только маскировка чего-то другого. Вы, мол, сейчас за права человека, потому что вы слабее всех, а дай вам власть в руки – и вы поведете себя не лучше любого правительства. Вот что обычно стоит за словом „тактика”. Я употребил его, желая некоторой сдержанности в отношении прав человека, ибо чем они, по-моему, никогда не являются, так это методом правления.

У западных левых есть идея „марксистской критики прав человека”. Эту критику легко найти в *Европейском вопросе* Маркса, откуда она перекочевала в *Капитал*. Она состоит в том, что права человека – это права формальные, а не реальные, абстрактные, а не конкретные. Противопоставление это вытекает из одного Марксова упрека, и я думаю, что в противопоставлении он прав, а в упреке неправ. Он говорит, что права человека не определяют общественного состояния. Он говорит, что сказать „свобода одного человека кончается там, где начинается свобода другого”, – это не значит сказать, кто собственник, кто не собственник, каковы права хозяина и каковы – рабочего. Это верно. Тут Маркс прав по сравнению с либералами, для которых свобода в



рамках прав человека — это и свобода предпринимательства и т. п., словом — вся организация общества. Но в чем ошибается Маркс — это в своем упреке правам человека, в упреке их чистой формальности. Упрек этот доказывает одну простую вещь: когда идеал либералов 19-го века не исполняется, Маркс считает, что ошибка была в способе исполнения, т. е. идеал у Маркса тот же, что у либералов. Это идеал жесткого планирования всей жизни общества либо с помощью рыночных механизмов — для либерала: либо с помощью механизмов организации производства — для марксиста, для фашиста, для фихтеанца, ибо этот метод также вписывается в долгую традицию и Маркс не единственный, кто считал государство организатором общества. Но в обоих случаях исходят из того, что общество — чистая страница, как говорил Мао Цзе-дун, или *tabula rasa*, как поется в „Интернационале”: „... разрушим до основания, а затем...”, или же Америка в представлении Локка, т. е. пустынная страна — Локк теоретически очистил ее от индейцев еще до того, как она была очищена от них физически. Но во всех случаях: марксист ли, либерал, любой государствовоклонник — все они имеют дело с чистой страницей, на которой они, эксперты, будут организовывать производство, потребление, распределение власти. Тут естественно спросить: хорош ли принцип прав человека для этого планирования, для строительства нового мира начиная с нуля? Я думаю, что Маркс прав: для созидания нового мира на пустом месте права человека непригодны. Но он неправ в самом желании построить новый мир начиная с нуля, ибо это значит убить прошлое.

Прошлое убивают на уровне идей, религий. Это убийство называют, например, очищением русской земли от вредных насекомых, как говорил Ленин, это называют уничтожением носителей „пережитков” прошлого, а носители прошлого — едва ли не все люди. Поэтому начинают с помещика и капиталиста, а кончают тем, кому просто больше 15 лет, как в Камбодже, как во Вьетнаме. Основная политическая линия вьетнамских коммунистов состоит в том, что все население

Юга прогнило, за исключением детей младше 15 лет, поскольку их сознательная жизнь началась примерно в момент взятия власти коммунистами. Так что критике следует подвергнуть не права человека, а вот эту идею строительства нового мира начиная с нуля. Потому-то я и говорю: я не очень-то знаю, что такое права человека — стратегия или тактика, это вопрос чисто словарный, но это принцип самозащиты населения против властей, которые всегда рискуют совершать злоупотребления и часто их совершают. И лучшего принципа самозащиты не найдено. Конечно, он формален, но это ничто в сравнении с формальностью созидания нового мира.

**Вопрос.** Сейчас в защите прав человека и, в особенности, в защите индокитайских беженцев мы видим эволюцию бывших маоистов в некоей кульминационной точке. Например, в первом номере норвежского *Континента (Континент-Скандинавия)* напечатан разговор на эту тему между тобой и Даниэлем Кон-Бендитом после твоей поездки на остров Пуло-Бидонг. Бывшая маоистка Клоди Бруайель — председатель комитета „Корабль для Вьетнама”. Правильно ли будет понять, что экс-маоисты приняли дело защиты индокитайских беженцев, беженцев из этого района, с которым прошлое маоистов так тесно связано... (Глюксман: ... беженцев от коммунистов...) ... как **свою** проблему?

**Ответ.** Тут можно многое ответить — и многое следует уточнить. Во-первых, когда говоришь о бывших маоистах, надо ставить целый ряд разнообразных кавычек. Маоисты никогда не были единой партией. Например, я не был в той организации, где были Бруайели, мы никогда не были знакомы, и первый раз, что я встретил Клоди, — это когда она пришла меня поддержать в то время, как на меня нападали из-за Солженицына. Эволюцию люди тоже проходят по-разному, и если взять опять-таки Бруайелей, Кон-Бендита, меня, мы и сейчас далеко не во всем согласны, но мы согласны в том, что представляется исключительно важным.

Однако мы видим вокруг проблемы беженцев нечто гораздо более важное: взаимодействие людей не только на-

шего поколения, с нашим прошлым. Поворот произошел на уровне всей французской интеллигенции, всего, что в ней есть значительного. Под призывом комитета „Корабль для Вьетнама” поставили подписи Жан-Поль Сартр и Раймон Арон. Они вместе участвовали в пресс-конференции комитета, и это была их первая встреча с 1945 года. Оба они были в делегации комитета, отправившейся на прием к Президенту с требованием, чтобы Франция дала 45 тысяч виз для беженцев, гибнущих в Южнокитайском море. Так что, я думаю, здесь не просто эволюция нашего поколения, но некое новое положение в мире.

С тех пор как формально кончилась холодная война и наступило „мирное сосуществование”, велось никогда ранее не виданное количество войн, уничтожалось невероятное число людей, Камбоджа и Экваториальная Гвинея приблизились к гитлеровским рекордам.\* И что же можно заметить? Что противники не так далеки друг от друга, как это казалось. Как раз ситуация беженцев дает особенно поразительный пример. Сравните: во время холодной войны, когда миллионы жителей Восточной Германии ногами голосовали за свободу и переходили на Запад, Берлинская стена была воздвигнута с одной стороны, с восточногерманской, чтобы помешать побегам. То, что происходит в настоящее время с Индокитаем, куда страшнее: воздвигается стена из трупов, и частично она по-прежнему воздвигается вьетнамцами, ибо нет никакого резона людям бежать в таких условиях, когда заведомо известно, что каждый второй рискует погибнуть, нет никакого резона пускаться в такой побег, кроме одного: нет иного способа отъезда, а внутри страны — ничего, кроме жуткого угнетения. Да, в каком-то смысле стена воздвигается самими вьетнамцами, которые рискуют точно так же,

\* В то время, как этот номер находился в печати, „марксистско-ленинский” режим Масиаса в Экваториальной Гвинее был свергнут. По предварительным данным, за время его существования было уничтожено не менее 50 тыс. человек — в стране с населением в 350 тысяч. — Прим. редакции *Континента*

как сегодняшние немцы идут на риск быть подстреленными ГДРовской „народной полицией” при попытке прыжка через стену. Но сейчас стена воздвигается и с другой стороны, поскольку антикоммунистические державы, расположенные вокруг Вьетнама: Таиланд, Малазия, Индонезия, Филиппины, даже Гонконг, — отказываются принимать беженцев. Так что нынешнее положение гораздо хуже, чем во времена холодной войны: вообразим себе, что ФРГ выталкивает обратно беженцев из ГДР и принимается сооружать вторую стену, параллельную первой, не менее страшную, расстреливая всех, кто приблизится к этой стене. Вот какова индокитайская ситуация. Более того, не только страны Юго-Восточной Азии, будь они коммунистические или антикоммунистические, участвуют в воздвижении этой стены, но и Запад, богатые страны Европы и Америки, потому что если беженские лагеря в Малазии и Таиланде переполняются и эти страны отталкивают новых беженцев, то это потому, что США, Франция и другие страны не принимают достаточно беженцев. **Вопрос.** Быть может, особенно другие страны? Ведь США и Франция все-таки принимают больше беженцев, чем остальные...

**Ответ.** Да, если сравнить. Конечно, если вспомнить, что Западная Германия приняла 4000 индокитайских беженцев с 1975 года, — это смехотворно и постыдно. Тем не менее, даже если Франция, США и, конечно, Австралия принимают пропорционально к населению гораздо больше беженцев, чем остальные, усилие, которое они в это вкладывают, явно недостаточно. И это я считаю принципиальной характеристикой новой ситуации, ситуации „после холодной войны”, но и „после мирного сосуществования”, ситуации, в которой против беженцев, против людей, рискующих своей жизнью ради того, чтобы жить согласно своим убеждениям, своим идеям, да просто чтобы жить, — против них вступают в коалицию — более или менее тесную, но в коалицию — государства всего мира...

**Вопрос.** Мы говорим, в общем, о двух вещах: о влиянии диссидентства на Запад и о сегодняшней помощи беженцам,

притом с парадоксальным ощущением связанности этих двух тем. Что ты сказал бы об этом?

**Ответ.** Прежде всего надо сказать — и в этом нет ничего парадоксального, — что первым, кто говорил о вьетнамском ГУЛаге, был Солженицын — он говорил об этом еще до падения Сайгона. В то время к этому не отнеслись всерьез, большинство левых не хотело этого слышать, я считал, что это вполне возможно, но все-таки надеялся, что они до этого не дошли и что Солженицын ошибается. Следующим, кто обратил мое внимание на эту проблему, был Буковский — он предложил мне отправиться в тогда еще первые беженские лагеря в Таиланде и встретиться с беженцами. Так что именно советские диссиденты обратили внимание европейцев на индокитайских беженцев. В конце концов, советские диссиденты были и у самых истоков создания комитета „Корабль для Вьетнама”. Так что это не случайность, что вторыми в дело защиты беженцев вступили именно друзья диссидентов, но вторыми, а не первыми, потому что диссиденты уже говорили об этом.

**Вопрос.** В связи с этим припоминается такой вопрос, заданный нам нашими кубинскими друзьями. Этой весной мы встречались с кубинцами, с недавними политзаключенными, и они спросили: почему такая разница между Францией и США, почему Франция так сильно пережила то, что здесь называют „солженицынский шок”, переживает влияние диссидентства, а в США все это имело гораздо меньше отклика? Кто-то из нас ответил примерно то, что ты говорил об опыте сталинизма во Франции, о том, что французы хорошо знакомы с реальной властью коммунистической партии в муниципалитетах, в системе образования и т. п. Но вот и сейчас мы видим, что во Франции деятельность в пользу индокитайских беженцев находит огромную поддержку среди населения, в то время как — ты, наверное, знаешь — такие люди, как Джоан Баэз, Аллен Гинзберг и другие, выступавшие в свое время против вьетнамской войны, выступив сейчас за дело беженцев, оказались в изоляции от своих прежних друзей, не нашли этой поддержки. Как ты объясняешь это?

**Ответ.** Я воздержусь от более широкого объяснения, потому что я плохо знаю США. Все, что я могу отметить, — это то, что США не имели прямого опыта марксизма, опыта на уровне организации, пусть хотя бы социал-демократической, поэтому, я думаю, они стоят на пути к тому, чтобы проделать весь тот опыт, на который французы затратили столетие, все ступени этого опыта одновременно. Кроме того, всего лишь 15-20 лет, как американцы начали приобретать опыт угрозы национальному существованию — этого опыта они прежде тоже не имели.

Джейн Фонда, поддерживавшая антиколониальную борьбу вьетнамцев, в которой коммунисты сыграли роль зодчих нового колониализма (разрушив старый), не хочет подвергнуть сомнению свое собственное прошлое. Напротив, Джоан Бааз подвергает его сомнению, но ей это сделать легче, потому что она еще во время борьбы против вьетнамской войны стояла на позициях ненасилия. В конце концов, то же самое и в Европе: те, кто мыслит более свободно, свободнее подвергают себя пересмотру и понимают, что происходит, чем те, кто исполнен духа ветеранов, т. е. те, кто в прошлом был сильнее „ангажирован”.

Если мы хотим продолжать наше гуманитарное движение, мы должны сделать выбор между воинственностью и человечностью. Конечно, до 75-го года нам было проще, мы говорили: мы за человечность, мы против бомбежки детей, а значит — за Хо Ши Мина. Эта путаница не была еще тогда настолько опровергнута фактами, хотя и те факты, что были известны, могли бы заставить нас раскрыть глаза. Но больше такая путаница невозможна, надо выбирать между правами человека и духом воинственности. Поэтому речь идет не столько о том, чтобы подвергнуть сомнению или отвергнуть свое прошлое, отвергнуть **все** свое прошлое, поставить **все** под вопрос, но о том, чтобы раздробить это прошлое, увидеть, что в нем было хорошего, что плохого, отделить дух прав человека от воинствующего духа, отвергнуть этот последний и сохранить дух прав человека, извлечь его из дурного, нередко марксистского соуса тех времен. И эта работа

— раздробить свое прошлое, как скульптор, раскалывающий свое старье, как дробильщик камней, — эта работа всегда мучительна, и даже такие мыслители, как Хомский, отшатываются перед ее трудностями.

**Вопрос.** Последний вопрос у нас традиционный: что ты хотел бы сказать читателям *Континента*? Мы хотели бы подчеркнуть, что речь идет, прежде всего, о возможности обратиться к тем, кто живет „там”, в Советском Союзе, в Восточной Европе.

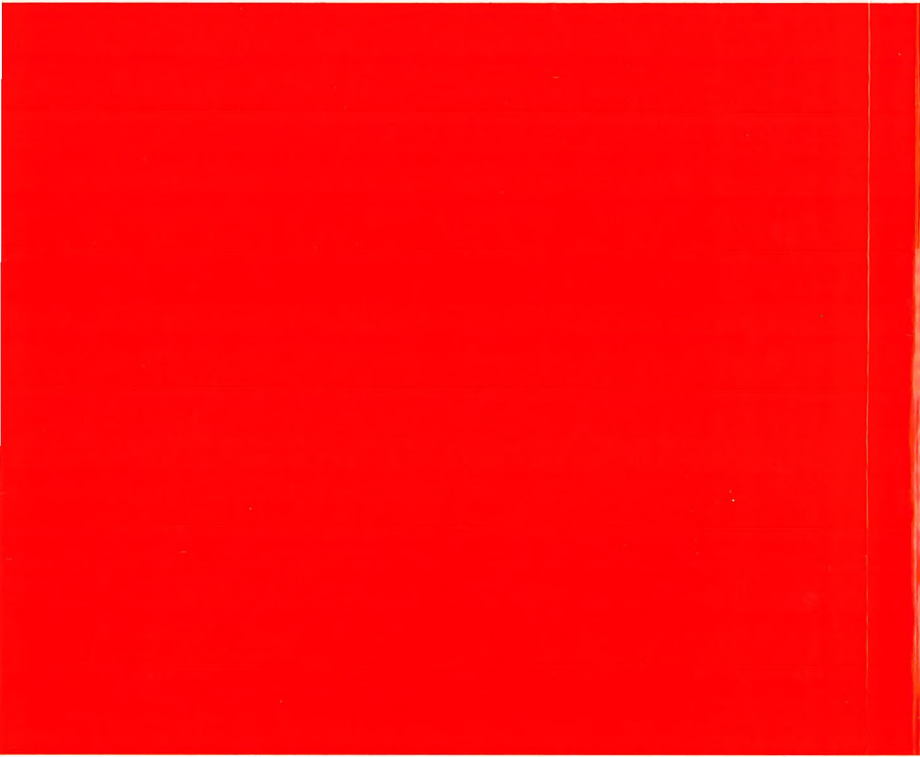
**Ответ.** Мне хотелось бы сказать, что не надо на нас рассчитывать и что беженец на своей утлой лодке посреди океана — это истина сегодняшнего положения. Действительно, вся интеллигенция расшевелилась, взволновалось огромное количество простых людей, большинство французского населения, — всех беспокоит судьба беженцев. Никогда не было собрано столько денег, никогда не было такого волнения в населении, несмотря даже на летние отпуска. И что же? Все достижения — это один частный корабль в Южно-Китайском море, к которому по прошествии полугода присоединился еще норвежский корабль, способный спасти примерно полторы тысячи человек, и итальянский корабль с двумя катерами, способный спасти еще около тысячи человек. Нельзя сказать, что нет вовсе результата от западного движения протеста, но результат этот наступает медленно, он хрупок и, в конце концов, вызывает отчаяние в сравнении с тем, что происходит: на глазах у всего мира, снятые телевизионными камерами, на телеэкранах в каждом доме, — мы видим все, нет никакой цензуры, все видят, и все знают, — тонут люди. Поэтому не надо слушать Запад, например, когда главы государств или религий склоняются в Освенциме, чтобы сказать: это никогда не повторится. Потому что когда Освенцим действовал, тогдашние главы государств прекрасно знали, что там творится, тогдашний Папа знал, что там творится, и они молчали. Так и сейчас: даже население знает, что творится в Южно-Китайском море или в джунглях на границе Камбоджи и Таиланда, люди жаждут что-то сделать, посылают деньги, но у государств эгоистические заботы, их

проблема № 1 — не спасать тонущих в океане, а найти бензин, сделать все возможное, чтобы найти бензин. Так что таково состояние современного мира, и не надо строить иллюзий. В конце концов, желая стать свободным, не стоит рассчитывать на других.



## Оглавление

<b>ВВЕДЕНИЕ. От Колымы до Атлантического океана . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>1. РОССИЯ НАШИМИ ГЛАЗАМИ . . . . .</b>	<b>11</b>
<i>Примечания . . . . .</i>	<i>76</i>
<b>2. ВЕЛИЧАЙШАЯ ЛОЖЬ НАШЕГО ВЕКА . . . . .</b>	<b>77</b>
1. Дипломированные „социалистические” морозилки	79
<i>Примечания . . . . .</i>	<i>102</i>
2. Интернирование и его социальные корни, или новые похождения Людовика XIV . . . . .	103
<i>Примечания . . . . .</i>	<i>116</i>
3. Политическая экономия принудительного труда . . . . .	117
<i>Примечания . . . . .</i>	<i>137</i>
4. Революция методом уподобления . . . . .	139
<i>Примечания . . . . .</i>	<i>165</i>
5. Речи о добровольном рабстве . . . . .	167
<i>Примечания . . . . .</i>	<i>194</i>
6. Поверхностное просвещение. . . . .	195
<i>Примечания . . . . .</i>	<i>212</i>
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Всегдасмотрящий . . . . .</b>	<b>213</b>
<i>Примечания . . . . .</i>	<i>230</i>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ. Интервью с Андре Глюксманом . . . . .</b>	<b>231</b>



Photographs on cover: © 'Popperfoto',  
inset © Aid to the Russian Church